

# Ричард Лахман

## Что такое историческая социология?

В этой новаторской книге известный американский исторический социолог Ричард Лахман показывает, какую пользу мы можем извлечь для себя из исследований к истории, и какие отношения мы можем получить, помещая социологию в исторический контекст. Автор описывает, как исторические события влияли на социальные движения, империи, неравенства, гендера и культуры. Он не только предлагает всеобщую историческую социологию, но и читателя с образцовыми работами в этой дисциплине и показывает на наше



Издательский дом **ДЕЛО**

Ричард Лахман

Что такое  
историческая социология?

Richard Lachmann

# What is Historical Sociology?

Polity  
2013



**РАНХиГС**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ричард Лахман

# Что такое историческая социология?

*Перевод с английского М. В. Дондуковского  
Под научной редакцией А.А. Смирнова*



| ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ДЕЛО |  
МОСКВА | 2016

УДК 316.244

ББК 60.5

Л12

**Лахман, Ричард**

Л12      Что такое историческая социология? / Ричард Лахман; пер. с англ. М. В. Дондуковского; под науч. ред. А. А. Смирнова. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. — 240 с.

ISBN 978-5-7749-0978-0

В этой новаторской книге известный американский исторический социолог Ричард Лахман показывает, какую пользу могут извлечь для себя социологи, обращаясь в своих исследованиях к истории, и какие новые знания мы можем получить, помещая социальные отношения и события в исторический контекст. Автор описывает, как исторические социологи рассматривали истоки капитализма, революций, социальных движений, империй и государств, неравенства, гендера и культуры. Он стремится не столько предложить всестороннюю историю исторической социологии, сколько познакомить читателя с образцовыми работами в рамках этой дисциплины и показать, как историческая социология влияет на наше понимание условий формирования и изменения обществ.

УДК 316.244

ББК 60.5

ISBN 978-5-7749-0978-0

Copyright © Richard Lachmann 2013

Настоящее издание публикуется по договоренности с Polity Press Ltd., Cambridge

© ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации, 2016

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к русскому изданию. . . . .	9
Благодарности. . . . .	15
Глава 1. Как все начиналось . . . . .	16
Глава 2. Истоки капитализма . . . . .	38
Глава 3. Революции и социальные движения . . . . .	60
Глава 4. Империи . . . . .	96
Глава 5. Государства . . . . .	119
Глава 6. Неравенство . . . . .	141
Глава 7. Гендер и семья. . . . .	166
Глава 8. Культура . . . . .	181
Глава 9. Предсказывая будущее . . . . .	200
Библиография . . . . .	219

*Эта книга посвящается моей тете Рут Беккер,  
которая всегда поощряла мою любознательность.*

## ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Я рад, что мою книгу перевели и она стала доступна русскому читателю. Россия занимает фундаментальное место в исторической социологии, составляя предмет исторических и социологических исследований, а также выступая в качестве примера для изучения формирования государства, революций, империй, классов и социальной мобильности, национализма и этничности, культуры и гендера. Я надеюсь, что эта книга поможет в развитии диалога между американскими и российскими социальными исследователями относительно наиболее подходящих методов сравнительных и исторических исследований и анализа. Поскольку эта книга написана с точки зрения одного американского социолога, пожалуй, лучшим способом представить ее — и точку зрения, а также пристрастия, нашедшие отражение в ней, — будет моя интеллектуальная биография.

Историческая социология, как я показываю в первой главе, занимает в американских университетах довольно любопытное положение. Хотя лишь немногие американские социологи занимаются историческими исследованиями, на работы по сравнительной исторической социологии приходится непропорционально большая доля премий за лучшую книгу и лучшую статью, присуждаемых Американской социологической ассоциацией. Американские студенты практически не знакомы с историей и особенно с неамериканской историей, поэтому у них нет необходимых базовых знаний, позволяющих выбрать подходящий временной период и примеры для рассмотрения интересующих их теоретических проблем.

Я пришел в историческую социологию еще студентом в 1970-х, как раз тогда, когда социологический интерес



к истории достиг своего пика и когда радикальная политика привела многих студентов к марксизму, который всегда отличался сильной ориентацией на историю. Еще студентом в Принстоне мне довелось поучаствовать в кое-какой политической активности, но главным образом из желания понять, как этим сволочам все сходит с рук. Почему солдаты выстраиваются в очереди, чтобы умереть в империалистических войнах? Почему рабочие мирятся с ничтожными заработками и отчуждающим и опасным трудом? Даже тогда, задолго до свинств рейгановской и клинтоновской эпохи, не говоря уже о совсем распоясавшейся администрации Джорджа Буша-младшего и его наследников, которые сейчас контролируют Конгресс и большинство правительств штатов, я не переставал удивляться тому, что я читал в *The New York Times* (и моему недоумению не было предела, когда я увидел более полную картину, которую рисовали небольшие левые издания). Много раз выходя на улицу после прочтения новостей о последних вопиющих злоупотреблениях, я, не сказать чтобы в шутку, задавался вопросом: где гильотины?

Впервые прочитав Маркса, я был убежден, что где-то в этих книгах были ответы на мои вопросы. Я находил — даже в «Капитале» — исторические объяснения. Надеясь узнать больше, я — по большей части тщетно — пробовал найти курсы по истории, в которых рассматривались бы вопросы, поставленные Марксом. В философии и антропологии дела обстояли еще хуже. Социология же, факультет, на котором работали исторические компаративисты, казалась более перспективной. Поскольку я был совсем не искушенным, мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, что модернизация и капитализм — не одно и то же, но было уже поздно: учеба закончилась, и я поступил в аспирантуру в Гарвард.

Большим достоинством гарвардской социологии в конце 1970-х — начале 1980-х помимо нескольких выдающихся учителей была почти полная свобода, позво-

лявшая аспирантам самим выбирать темы для исследований и заниматься ими. Тогда я был убежден, что, если я хочу понять современное общество, мне необходимо разобраться с истоками и развитием раннего капитализма. Я погрузился в чтение дебатов о переходе от феодализма к капитализму, преимущественно марксистских (они рассматриваются во второй главе). Большинство работ я считал неубедительными, даже если в каком-то смысле все они были познавательными. Лучшие авторы (Эрик Хобсбаум, Перри Андерсон, Иммануил Валлерстайн), казалось, предлагали лишь частичные ответы, говоря о разных вещах, но думая при этом, что они говорят об одном и том же. Я пытался разобраться, как и почему предыдущие участники дебатов сбились с пути. Когда я понял, где их объяснения были неполными или ошибочными, я нашел основу для построения альтернативного анализа. После этого содержательное исследование и написание диссертации заняли уже (относительно) немного времени.

Как только я определился со своей позицией в дебатах о переходе, сразу же стало ясно, что первым шагом должно было быть изучение первого случая аграрного капитализма — Англии в столетие между генриховской Реформацией и Гражданской войной. Мне также удалось подобрать ряд примеров несостоявшихся, частичных и отложенных переходов, которые можно было использовать для сравнения: итальянские города-государства, Испания, Нидерланды и Франция. Сначала я планировал включить все эти примеры в свою диссертацию. К счастью, моим научным руководителям удалось убедить меня приберечь эти примеры для последующих публикаций.

Мои работы о переходе, в конечном итоге вылившиеся в книгу «Капиталисты поневоле», которая была опубликована спустя семнадцать лет после защиты докторской диссертации, ослабили мою первоначальную убежденность в том, что Маркс способен был помочь

в ответе на мои вопросы. В сущности, я пришел к выводу, что Маркс и поздние марксисты ставили верные вопросы, но ответы требовали в значительной мере веберовского или элитистского анализа.

Я был не первым аспирантом, для которого написание диссертации стало всепоглощающим занятием и последующие за публикацией годы совпали с рождением и воспитанием двоих детей. Мне несложно было оставаться верным этому проекту и избегать тем, имеющих отношение к современной политике. Я не был больше уверен, что мои исторические исследования имеют отношение к проблемам современного капитализма, которые с самого начала определяли мой интерес к его истокам. И что еще важнее, мой отход от активной политики (за исключением участия в выступлениях против Гражданской войны в Никарагуа, развязанной при поддержке Соединенных Штатов) был обусловлен почти непрерывной чередой поражений прогрессивных сил в США на протяжении всей моей сознательной жизни.

Как только я закончил книгу, я чувствовал, что написал все, что я мог сказать об истоках капитализма. Я не хотел стать одним из тех ученых, которые тратят всю свою карьеру, защищая свою старую идею от тех, кто пытается ее оспорить. Какое-то время я занимался поиском новой темы для исследований. Тогда Джордж Буш-младший стал моим интеллектуальным спасением. Когда я был аспирантом, я любил говорить, что и демократы, и республиканцы были партиями капитализма; только первые представляли умных капиталистов, а вторые — глупых. Буш, похоже, был воплощением моей старой остроты. Социологического исследования заслуживала не личная глупость или порочность Буша, а отсутствие вплоть до конца его президентского срока убедительного вызова его политике со стороны какой-либо значимой политической силы. Я помнил из своих исторических исследований, что в гегемонистских державах — от Флоренции времен Медичи до викторианской Британии —

велись политические дебаты о том, как следовало отвечать на геополитические и экономические вызовы из-за рубежа. В большинстве своем эти дебаты разрешались в пользу тех элит, которые обладали структурной способностью отстаивать свои привилегии, и в результате эти политики шли по пути, который вел их к упадку. Неожиданно я нашел свою новую исследовательскую программу. Я мог заняться американским империализмом и тем, как немногочисленная элита сосредотачивает в своих руках все больше власти и богатства, политическими вопросами, которые как раз и привели меня в социологию.

Как и в случае с истоками капитализма, я вновь работаю над хорошо исследованной и широко обсуждавшейся темой. Но на этот раз я не ощущаю необходимости начинать с того, чтобы занять позицию по отношению ко всем дебатам вокруг этой темы, хотя мне есть что сказать о многочисленных триумфалистских, культуралистских и миросистемных интерпретациях американской гегемонии. Вместо этого я начал заниматься сравнительной исторической социологией, систематически сравнивая недавнее развитие Америки со структурными отношениями и причинными процессами, которые я встречал, занимаясь изучением предыдущих гегемонов. Модель конфликта элит, разработанная мной для понимания раннего капиталистического развития, пронизывает и мой анализ упадка.

Я испытываю смешанные чувства, работая над этим проектом. Как социолог, я чувствую, что мне представилась редкая возможность сидеть в первом ряду и наблюдать важную историческую трансформацию. В научных статьях, написанных мной, и книге, которую я пишу сейчас, предназначенных для социальных исследователей и историков, я пытаюсь рассматривать упадок Соединенных Штатов в более строгих аналитических терминах. В то же самое время как тот, кто прожил свою жизнь в демократии первого мира и кто хотел бы, чтобы его дети имели такую же возможность, я с ужасом смотрю

## ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ?

на нынешнюю траекторию развития моей страны. Я ощущаю необходимость попробовать вместе с моими интеллектуальными коллегами обратиться к более широкой заинтересованной аудитории за пределами научной среды и подумать, как лучше всего действовать, чтобы использовать политические возможности, все еще открытые для граждан Соединенных Штатов. Хотя я понимаю, что в интеллектуальном отношении было бы нечестно отрицать структурные силы, способствующие геополитическому и экономическому упадку Соединенных Штатов, я не думаю, что рост неравенства и атрофия демократии неизбежны. Исторические отношения между упадком, общественным участием и неравенством не автоматически и не линейны. Меня все еще интересует понимание того, как этим сволочам все сходит с рук и какие стратегические возможности имеются для того, чтобы бросить вызов правлению элиты.

Я высоко ценю те полезные советы, которые были предложены Георгием Дерлугьяном, Роберто Францози, анонимными рецензентами и моим редактором в издательстве *Polity* Джонатаном Скерреттом. Я особенно благодарен Ребекке Эмай за ее подробные рекомендации по внесению исправлений.

Краткие фрагменты второй главы уже появлялись прежде в “Class Formation without Class Struggle: An Elite Theory of the Transition to Capitalism”, *American Sociological Review*, 5(3), 1990, p. 398–414; в “Comparisons within a Single Social Formation: A Critical Appreciation of Perry Anderson’s Lineages of the Absolutist State”, *Qualitative Sociology*, 25(1), 2002, p. 83–92; и в *States and Power* (Polity, 2010); четвертой главы — в “Comments: Book Symposium on James Mahoney’s Colonialism and Post-Colonial Development: Spanish America in Comparative Perspective”, *Trajectories: Newsletter of the ASA Comparative Historical Sociology Section of the American Sociological Association*, 23 (2), 2012, p. 22–24; и восьмой главы в *States and Power* (Polity, 2010) и в “Read This Book! The World Republic of Letters, Pascale Casanova”, *Trajectories: Newsletter of the ASA Comparative Historical Sociology Section*, 18 (1), 2006, p. 15–16.

## ГЛАВА 1. КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Социология создавалась с целью объяснить феномен исторического изменения. Основатели социологии были убеждены, что время, в которое они живут, — это время социальной трансформации, не имеющей прецедентов в человеческой истории, и что для описания и анализа этого изменения, для объяснения его истоков и прояснения его следствий для человеческого существования нужна новая дисциплина. По словам Токвиля, «совершенно новому миру необходимы новые политические знания» (Tocqueville, [1835] 2003, p. 16; Токвиль, 1992, с. 30). У основателей социологии не было единого мнения относительно природы данного изменения и касательно того, каким образом эта дисциплина должна взяться за его изучение. Не было у них и уверенности в том, можно ли для выработки общей «науки об обществе» использовать те теории, которые разрабатывались ими для объяснения перемен их собственного времени. Как бы то ни было, все они — Маркс, Вебер, Дюркгейм и их менее именитые современники — видели в этой новой дисциплине, социологии, дисциплину историческую.

Социология с самого начала была исторической дисциплиной в силу тех вопросов, которые задавали ее основатели.

Для Маркса ключевые вопросы звучали так: что такое капитализм? Почему он занял место других общественных систем? Как он трансформирует то, как люди трудятся, воспроизводят себя (биологически и социально), приобретают знания и эксплуатируют природный мир? Какое воздействие эти изменения оказывают на отношения власти, господства и эксплуатации?

Вебер также задавался вопросом об эпохальных исторических сдвигах. Он стремился объяснить про-

исхождение мировых религий, капитализма и рационального действия и хотел понять, как этот вид рациональности сказывается на осуществлении власти, на развитии науки (включая науку об обществе), религии и гуманитарных дисциплин, на организации труда, управления государством, рынка и семьи и на всем прочем, чем бы ни занимались человеческие существа.

Дюркгейм задавался вопросом о том, как разделение труда и исторический переход от механической к органической солидарности изменяет организацию работы, школ, семьи, сообществ и общества в целом и сказывается на способности стран вести войны<sup>1</sup>.

Будучи с самого начала исторической дисциплиной, предмет которой составляла социальная трансформация в масштабах целой эпохи, социология превратилась в дисциплину, внимание которой все больше сосредотачивается на настоящем дне и на том, чтобы попытаться объяснить индивидуальное поведение. Многие социологи, особенно в США, в поиске исследовательских тем с надеждой обращаются к своим личным биографиям или к людям из своего непосредственного окружения; это напоминает книгу для детей «Все обо мне» (Kranz, 2004), в которой оставлены пустые страницы, чтобы ее юные владельцы могли написать на них, чем им нравится заниматься в своих «любимых местах», рассказать о своих хобби или «назвать три вещи, благодаря которым можно ощутить собственную значимость». Взгляните на программу ежегодного съезда Американской социологической ассоциации. Она содержит версию того, как социология видит жизнь человека. Сперва мы

---

<sup>1</sup> Деланти и Исин считают, что одной из «определяющих характеристик исторической социологии является озабоченность формированием и трансформацией модерности (modernity)» (Delanty and Isin, 2003, p. 1). Моя мысль состоит в том, что для своих основателей эта озабоченность была определяющей характеристикой вообще *всей* социологии.



рождаемся, и легионы демографов объясняют, почему нашим матерям в этот момент было 26,2, а не 25,8 лет. Мы узнаем о сексе и вступаем в половую жизнь, и тут являются социологи, чья память постоянно воскрешает их подростковые годы и которые занимаются исследованиями вопросов потери девственности или каминг-аута гомосексуалов. Во взрослом возрасте нас ждут криминологи, чтобы поведать нам, кто из молодых обитателей гетто обчистит нас на улице, а кто станет «ботаником» в своей захудалой городской школе. Социологи медицины расскажут нам, почему на старости лет нас будут пичкать избыточным количеством лекарств и выставлять чрезмерные счета. В большинстве своем эта исследовательская деятельность аисторична и не предполагает использования сравнительных методов, сосредотачиваясь на последних пяти минутах жизни в Соединенных Штатах.

В более широком, мировом, масштабе тем временем уже происходят фундаментальные трансформации: в минувшем столетии численность мирового населения достигла беспрецедентного уровня, причем потребление ресурсов этими людскими миллиардами шло темпами, которые превышают возможности глобальной экосистемы. В скором времени целые страны будут испытывать дефицит воды либо исчезнут под водами поднявшегося океана. Глобальное потепление заставит людей массово мигрировать в масштабах, доселе невиданных в человеческой истории. Для размещения этих беженцев у правительств отсутствует достаточный организационный потенциал, да и почти наверняка само желание, однако же для отражения нуждающихся мигрантов военные средства и народная поддержка найдутся у многих.

Сегодня машины приходят на смену людям и в сфере обслуживания, подобно тому как ранее это было с обрабатывающей промышленностью и сельским хозяйством, создавая возможность мира, где для поддержания текущего или будущего уровня производства большая часть

людских трудовых ресурсов уже будет не нужна (Collins, 2013; Brynjolfsson and McAfee, 2012). Природа войны также претерпевает трансформацию. За истекшие столетия массовая воинская повинность, — восходящая в своих истоках к концу XVIII века, которая сделала возможными войны с участием миллионных армий и стимулировала разработку оружия, способного разом уничтожать тысячи вражеских бойцов и поражать гражданское население, производящее это оружие и обеспечивающее эти армии новобранцами, — была отменена почти во всех западных странах, в настоящее время больше невоюющих либо старающихся опереться на высокотехнологичное оружие.

За последние три десятилетия в самых богатых странах мира стремительно вырос уровень неравенства, снижавшийся на протяжении предыдущих сорока лет, а ряд стран, которые до начала Второй мировой войны зависели от США и Европы и которые не вылезали из нищеты, достигли высокого уровня геополитической автономии и ускоренно сокращают экономический разрыв с Западом. Все меньше людей на планете живут в сообществах, изолированных от остального мира, и сельскохозяйственное население, съезжившееся до крохотной прослойки в богатых государствах, ныне стремительно сокращается и в большинстве остальных стран мира. Впервые в человеческой истории большинство мирового населения проживает в городах. К каналам эксплуатации, сложившимся, как первым объяснил Маркс, с наступлением капитализма, теперь присоединились различного рода коммуникативные каналы, способные обеспечить более эгалитарные отношения между странами и во внутригосударственных делах.

Социология обладает изрядным аналитическим и методологическим арсеналом для анализа последствий этих трансформаций начала XXI века, учитывая, что ее создание было обусловлено необходимостью объяснения комплекса тех подрывных и беспрецедентных изменений, которыми сопровождалось наступление эпохи нововременных

капиталистических обществ. Однако социология только тогда сможет помочь нам понять, что же в современном мире наиболее значимо и имеет важные последствия, когда она будет исторической социологией. Как верно замечает Крэг Калхун, «самый веский довод в пользу существования исторической социологии до неприличия очевиден (до неприличия, потому что им слишком часто пренебрегают). Это важность изучения социальных изменений» (Calhoun, 2003, p. 383).

Моя цель в этой книге состоит в переключении нашего внимания с того разряда солипсистских и малозначительных изысканий, которые представлены в учебниках по социологии и которые доминируют в слишком многих крупных академических журналах. Вместо этого я предлагаю сосредоточиться на понимании того, как социологический анализ исторического изменения позволяет нам понять как истоки современного мира, так и объем и последствия текущих трансформаций. Поскольку значительная часть этих изысканий сегодня ведется в рамках исторической социологии, эта книга должна рассмотреть вопрос о том, что такое историческая социология. Я надеюсь, что предметы, волнующие историческую социологию, ее методы и способы изучения смогут придать сил социологии как более широкой дисциплине, вместо сводимой к моделям и этнографическим описаниям статичных социальных отношений, сделав ее дисциплиной о социальных изменениях.

Эта книга, как и историческая социология, не поможет вам узнать «все о себе». Историческая социология может помочь вам понять тот мир, в котором будет проходить ваша жизнь. Она дает контекст, исходя из которого можно определить величину и значимость нынешних изменений гендерных отношений, структуры семьи, демографических закономерностей и организации и содержания труда, экономики, культуры, политики и международных отношений. Поскольку исторической социологии присущ компаративный характер, мы можем

разглядеть «необычность» любого конкретного общества, включая наше собственное, в любой момент времени и отличить фундаментальное социальное изменение от простых новшеств.

Если та социология, какой она виделась ее основателям, заметно отличается от современной социологии, то эта ранняя социология также отличалась от той истории (history), которая писалась историками. Поскольку Маркс, Вебер и Дюркгейм пытались объяснить одну беспрецедентную социальную трансформацию, то основной массив мировой истории до наступления Нового времени был в конечном счете оставлен ими без должного внимания или даже попросту проигнорирован. Также они сами определяли, какую историю им изучать и как понимать исследуемые ими исторические свидетельства — а именно дедуктивно, с точки зрения выдвигаемых ими метатеорий и обобщающих понятий. Это вело к тому, что они, прочесывая труды многочисленных историков, зачастую вырывали выводы последних из контекста, чтобы выстроить весомую аргументацию относительно социальных изменений. Неудивительно, что профессиональные историки легко могли пренебречь социологическими теориями, парящими над архивными свидетельствами и теми специфическими пространственно-временными ареалами, в соответствии с которыми историки определяют сами себя и ведут диалог друг с другом. В результате Вебер и Дюркгейм с их теориями не оказали на историков какого-либо существенного влияния.

Историки легко могли пренебрегать Дюркгеймом, поскольку он почти никогда не ссылался на конкретные исторические события, не касался их. Вебер же, опиравшийся на широчайший круг исторических исследований, пострадал из-за того, что практически все современные историки Реформации отвергают его наиболее известный труд «Протестантская этика и дух капитализма». Фернан Бродель точно резюмирует оценку со стороны

представителей его профессии: «Все историки выступают против этого остроумного положения, хотя им и не удается от него избавиться раз и навсегда: оно снова и снова возникает перед ними. А между тем это явно неверное положение» (Braudel, 1977, p. 65–66; Бродель, 1993, с. 70). В результате историки не склонны смотреть в сторону Вебера, ожидая от него теоретических или эмпирических указаний касательно других исторических изменений.

У историков репутация Маркса выше, возможно, потому, что они не считают его социологом. Но все же историки, определяющие самих себя в качестве марксистов или стремящиеся опираться на элементы марксизма, по большей части используют идеи Маркса для придания специфики своим научным работам об отдельных исторических эпохах и проблемах. Среди историков мало таких, кто воспринимал бы себя в качестве деятельного участника всеобъемлющего проекта Маркса по объяснению истоков капитализма или прослеживанию динамики капитализма в глобальном или пусть даже национальном масштабе.

Теории Маркса, Вебера и Дюркгейма вызвали вопросы также и у ученых из неевропейских стран (и у западных ученых, знакомых с историей и интеллектуальными традициями остального мира), усомнившихся в том, что та трансформация, для объяснения которой и замысливались эти теории, «напоминает “универсальную человеческую историю”» (Chakrabarty, 2007, p. 3). Вместо этого Чакрабартти, подобно другим «постколониальным» исследователям, видит в этих ранних социологических теориях и во многом из написанного с тех пор европейцами и североамериканцами «истории, которые относились к множественным вариантам прошлого Европы <...> и проистекали из весьма конкретных интеллектуальных и исторических традиций, неспособных претендовать на какую-либо универсальную значимость» (Ibid., p. xiii). Или, как выразился Майкл Даттон: «Почему если дело доходит до “азиатских исследований”, то всякий

раз, когда бы ни взывали к “теории”, ее неизменно понимают в значении “прикладной теории” и наделяют ценностью лишь постольку, поскольку она помогает более убедительным образом рассказать о “реальном”?» (Dutton, 2005, p. 89). Одна из задач, которые я ставлю перед собой в этой книге, состоит в прояснении того, насколько западная историческая социология способна описывать и объяснять социальные изменения, где бы они ни происходили, а также того, как теоретическая и исследовательская деятельность ученых всего остального мира может обогащать, углублять и стимулировать социологию из Европы и о Европе.

За последние десятилетия исторические социологи сделали многое для того, чтобы сократить дистанцию между своим научным арсеналом и научным арсеналом историков. И все же эти две дисциплины пока еще не слились друг с другом. Последствия решения начинающего ученого заняться исторической социологией вместо истории и именно в этой области строить научную карьеру по-прежнему влияют на то, какого рода интеллектуалом он станет и какого рода исследования он будет предпринимать. И хотя взаимодействие между историческими социологами и историками все же имеет место, большую часть своего времени они по-прежнему проводят осваивая научный опыт и обращаясь к ученым в рамках своих собственных дисциплин. Это важно, потому что и историческая наука, и социология имеют свою историю и те интеллектуальные, институциональные и карьерные решения, которые принимались историками и социологами в прошлом, определяют сами формы вопросов, методов, данных и аргументов, задаваемых, развертываемых, анализируемых и выдвигаемых сегодня в рамках каждой из этих дисциплин. Несмотря на то что есть много историков, чьи работы оказывают влияние на социологов, и есть ряд исторических социологов, завоевавших уважение социологов, на практике в этих двух дисциплинах ученые совершенно

по-разному занимаются изучением истории. Зачастую студенты бакалавриата и даже магистратуры не очень хорошо сознают эти различия, и решение о том, какой именно области придерживаться, может приниматься ими без рассмотрения всех последствий их выбора. Я написал эту книгу отчасти затем, чтобы внести ясность в вопрос, что значит заниматься исторической социологией, чтобы у читателей, рассматривающих возможность изучения именно этой предметной области, имелось ясное представление о том, как выглядит академическая карьера исторического социолога.

Чарльз Тилли удачно и точно указывает на обобщенную черту историков: они разделяют «настойчивое убеждение, что фундаментальными принципами исторической вариативности являются время и место» (Tilly, 1991, p. 87), — например, французская революция XVIII века очень не похожа на китайскую революцию XX века, потому что она произошла раньше и в другой части света. В результате большинство историков и сами себя определяют, и признаются в качестве таковых другими на основании тех конкретных мест и эпох, изучением которых они занимаются; в соответствии с этой временной и географической специализацией и строится их карьера. Границы этих специализаций совпадают с институциональными и «твердо встроены в институциональные практики, которые на каждом шагу взывают к национальному государству — о чем свидетельствуют организация и политика преподавания, приема на работу, карьерного продвижения и публикационной деятельности на исторических факультетах» по всему миру (Chakrabarty, 2007, p. 41). Академических историков повсюду в мире в наше время в большинстве случаев приглашают на работу в качестве специалистов по истории США XIX века, истории Италии эпохи Ренессанса, истории Китая XX века или в соответствии с какой-то еще пространственно-временной специализацией. Исторические факультеты

будут, как правило, приглашать больше специалистов и вводить при этом более тонкие различия применительно к истории их собственной страны. Поэтому на историческом факультете в США может работать специалист по военной истории Гражданской войны вместе с десятком других американистов наряду и всего один-единственный специалист по истории Китая, а в Китае на факультете могут работать пара американистов и десяток историков, специализирующихся по какой-то отдельной династии.

Страновая специализация историков имеет смысл, поскольку к ней «привязано <...> большинство доминирующих [в их среде] вопросов из области национальной политики», вследствие чего историки пользуются «документальными свидетельствами <...> [для] установления определяющих акторов [и] приписывания этим акторам определенных установок и мотивов» (Tilly, 1991, p. 87–88). В свою очередь страновая специализация историков оказывает определяющее влияние на то, как они относятся к сравнению событий из различных стран и эпох. «У историков нет привычки, или, скорее, соответствующей подготовки, проводить масштабные сравнения или даже просто работать с общими понятиями, и зачастую они смотрят на все прошлое в целом сквозь призму того конкретного периода, на котором они специализируются» (Burke, 2003, p. 59).

Иммануил Валлерстайн в своем эссе, озаглавленном «Существует ли в действительности Индия?», предлагает отличный пример того, как национальные категории формируют облик исторического мышления. Валлерстайн отмечает, что то, что сегодня является Индией, было сплавлением отдельно существовавших территорий, вызванным британской колонизацией в XVIII и XIX веках. Политическое, а также культурное единство Индии — это артефакт британского умения колонизировать целый субконтинент. Валлерстайн выдвигает контрфактическое утверждение:



Вообразите <...> британцы колонизировали преимущественно (прежде всего) старую империю Великих Моголов, назвав ее Хиндустаном, а французы одновременно заняли (колонизировали) южные (преимущественно населенные дравидами) регионы нынешней Республики Индия, дав им наименование Дравидия. Считали бы мы сегодня после этого, что Мадрас являлся исконной «исторической» частью Индии? Использовали бы мы вообще это слово «Индия»?.. Вместо этого ученые со всего мира, вероятно, строчили бы пухлые тома, доказывающие, что с незапамятных времен Хиндустан и Дравидия были двумя принципиально различными культурами, народами, цивилизациями, нациями или как-то иначе отличались каким-нибудь другим образом (Wallerstein, [1986] 2000, p. 310; Валлерстайн, 2006, с. 3).

Нынешнее единство Индии — это совокупное порождение британской колонизации, национально-освободительного сопротивления британскому владычеству и неспособности других империалистических держав (таких как Франция, которая попыталась, но без успеха) прихватить себе часть этого субконтинента. Мысль Валлерстайна заключается в том, что контингентная серия случившихся, а также неслучившихся событий создала как политическую единицу, так и целый ареал академических исследований (история Индии и индология), воздействующих не только на совокупность научных знаний о той эпохе, начало которой было положено британской колонизацией, но также и на исторические и культурологические исследования предшествовавших этому столетий, когда еще не существовало единой индийской политики (polity) или культуры. Сложись иначе контингентные обстоятельства минувших трех столетий, иной была бы не только нынешняя реальность — иным было бы и ретроспективное истолкование историками отдаленного прошлого.

В противоположность этому исторические социологи организуют свою исследовательскую деятельность и научную карьеру вокруг теоретических вопросов — например, что является причинами революций, чем объясняется вариативность социальных пособий и льгот, предлагаемых государством своим гражданам, как и почему со временем изменилась структура семьи? На эти вопросы, как и на вопросы Маркса, Вебера и Дюркгейма о социальных изменениях в эпоху Нового времени, нельзя дать ответ, фокусируясь лишь на какой-то отдельно взятой эпохе какой-то отдельно взятой страны. Таким образом, в объяснениях историков и социологов весьма различным образом трактуется значение самой истории. Например, историки скептически относятся к тому, что приобретение знания о том, как действовал французский народ во время революции 1789 года, может служить хорошим подспорьем для понимания того, как действовали китайцы в 1949 году во время своей революции.

В каждой революции исторические социологи вместо этого видят кульминацию некой цепочки событий, открывающих возможности для одних действий и в то же время закрывающих для других. Следовательно, с точки зрения социолога, французы (в 1789 году) и китайцы (в 1949 году) смогли совершить свои революции в результате предшествующих событий, породивших одни социальные структуры и социальные отношения и положивших конец другим. Внимание исторических социологов сосредоточено на сравнении структур и событий как этих, так и других революций. Для социологического анализа все, что составляет отличительные черты каждого случая, вторично по отношению к тому, что сходно. Социологи проводят системный анализ различий в попытке найти закономерности, способные отвечать за исход каждого случая. Цель социологов состоит в конструировании теорий, объясняющих все соответствующие случаи и отвечающих как за сходства, так и за различные вариации.

Различия между исторической наукой и исторической социологией, таким образом, обусловлены эволюцией этих двух дисциплин. Впрочем, было бы ошибкой выдвигать эссенциалистский аргумент о существовании непреодолимых различий между историей и исторической социологией. Ученые-практики обеих дисциплин согласились бы с посылом Чарльза Тилли: «В той мере, в какой социальные процессы подвержены эффекту колеи (path-dependent), — в той мере, в какой последовательность предшествующих событий накладывает ограничения на происходящее в данный момент времени, — историческое знание о последовательностях становится основополагающим» (Tilly, 1991, p. 86). Иными словами, дело, которому отдают себя историки и исторические социологи, заключается в объяснении того, каким образом социальные акторы связаны рамками сделанного ими и их предшественниками в прежние времена. Как высказался об этом Маркс в своей величайшей работе по историческому анализу «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»: «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого» (Marx, [1852] 1963, p. 15; Маркс и Энгельс, 1957, с. 119).

Маркс говорил здесь о том, что историк Филип Абрамс назвал «двусторонностью социального мира <...> мира, где мы сразу и творцы, и творения» (Abrams, 1982, p. 2). Мы конструируем исторические объяснения того, как человеческие действия, предпринятые в прошлом, порождают нас самих и формируют тот социальный мир, в котором мы обитаем и который весьма многообразно накладывает ограничения на наши желания, убеждения, решения и действия. В то же время мы — акторы, творящие историю, создающие новый социальный порядок там, где в нашем мире существуют лакуны для трансформационного действия. И характер нашей ограниченности, и имеющиеся у нас возможности для трансфор-

мирующего действия predetermined исторически. Наши возможности и ограничивающие нас рамки отличаются от тех, что были у людей, живших до нас, и наши действия служат гарантией того, что в будущем возможности для действия опять будут другими. Вот почему оправданно утверждение Абрамса: «Социологическое объяснение по необходимости является историческим. Поэтому историческая социология — это не какая-то особая разновидность социологии, напротив, она является самой сущностью этой дисциплины» (Ibid.).

Не все действия равнозначны. «Большая часть происходящего воспроизводит социальные и культурные структуры без сколько-нибудь значительных изменений. События же можно определить как тот относительно редкий подкласс происшествий, благодаря которому структуры претерпевают значительную трансформацию. Событийная концепция темпоральности, таким образом, — это концепция, которая принимает во внимание трансформацию структур под влиянием событий» (Sewell, 1996, p. 262). Абрамс пользуется тем же словом «событие» для установления «некоего судьбоносного (portentous) исхода, некоего трансформационного механизма между прошлым и будущим» (Abrams, 1982, p. 191).

Поэтому объяснения с позиций исторической социологии должны:

- во-первых, различать несущественные повседневные действия человека и те редкие моменты, когда люди трансформировали социальную структуру;
- во-вторых, объяснять, почему трансформационные события случаются в некое конкретное время и в некоем конкретном месте, а не где-либо и когда-либо еще;
- в-третьих, показывать, как события делают возможным наступление позднейших событий.

Когда историческая социология берет на себя эти три задачи, она занимается тем, что Эббот (Abbott, 1992,

р. 68) описывает как «кейс-нарративный подход» (case/narrative approach), противопоставляемый им «популяционно-аналитическому» подходу (population/analytic approach). В социологии господствует популяционно-аналитический подход: он трактует «все включенные переменные как одинаково показательные (salient)», — то есть его суть состоит в измерении относительного влияния многих переменных в ряду многочисленных случаев. Кейс-нарративный подход уделяет внимание переменным лишь тогда, когда они что-то значат для самой каузальной последовательности, вызывающей тот исход, который мы хотим объяснить. «Это избирательное внимание согласуется с акцентом на контингентности. Все происходит благодаря констелляции факторов, а не из-за пары-тройки фундаментальных эффектов, действующих независимым образом». Ключевым словом здесь является контингентность. Нет ничего неизбежного или predetermined. События обретают значимость, когда вызывают другие события, складывающиеся в кумулятивную цепочку и трансформирующие социальную реальность<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Существуют предложенные рядом авторов типологии нарративных типов, из которых социологи могут подобрать какой-то один, соответствующий интересующей их проблеме. К сожалению, статьи Аминзаде (Aminzade, 1992) и Страйкер (Stryker, 1996), образцовых представителей данного подхода, выполнены на таком общем уровне, что едва ли могут быть полезны социологам или историкам, так как авторы пытаются задать схему упорядочивания свидетельств от одного или нескольких конкретных случаев, чтобы они могли стать объяснениями исторических изменений, которые, в свою очередь, могут стать основой для достижения теоретических обобщений. Другую крайность образует утверждение Лоуренса Стоуна (Stone, 1979) о том, что попытки «выработать обобщенные законы для объяснения исторических изменений» (р. 5) обречены на провал и поэтому историкам следует вернуться к нарративу, который, согласно его определению, представляет собой

Значимость события «устанавливается прежде всего с точки зрения его локализации во времени, по отношению к ходу или цепочке других происшествий» (Abrams, 1982 p. 191). Схожее событие — голод, война, революция или введение социальных пособий и льгот — может иметь очень разные последствия, а также и разные причины, в зависимости от его места в последовательности событий. Рассмотрим три примера того, насколько важно время совершения и последовательность событий:

1. Французская, русская и китайская революции случились после одних событий (поражение в войне, кризисы в сельском хозяйстве и успешное сопротивление реформам со стороны землевладельческого класса) и до наступления других событий (экспроприация собственности и политической власти землевладельцев, создание мощных централизованных государств). Теда Скочпол (Skocpol, 1979) утверждала, что причиной всех трех революций был ряд событий, произошедших ранее, и что эти революции сделали возможными события,

---

«организацию материала в хронологически последовательный порядок и сосредоточение содержания в одном единственном связном повествовании, хотя и с включением сюжетов низшего порядка» (Ibid., p. 3). Подход Стоуна, возможно, и даст результат в виде небезынтересного изображения единичных событий, но такое изображение не позволяет делать ни сравнения, ни теоретические обобщения — подобные цели Стоун считает глупыми и недостижимыми. Ответными репликами на пессимизм Стоуна являются работы Хобсбаума (Hobsbawm, 1980) и Абрамса (Abrams, 1980). Дальше в этой главе и на протяжении всей книги я буду представлять работы по исторической социологии, указывающие срединный путь между обобщениями, настолько широкими, что ими охватываются все исторически описанные случаи, и изображениями, заведомой и похвальной характеристикой которых является их уникальность и необобщаемость.

случившиеся впоследствии. Сьюэлл (Sewell, 1996), впрочем, замечает, что определенные события, такие как промышленная революция и создание пролетариата, произошли раньше русской, но никак не французской революции. Сьюэлл выдвигает мнение, что наличие пролетариата сделало русскую революцию существенно иной, нежели французская, и что наличие пролетариата означало, что советский революционный режим смог выполнить (к добру ли или нет) то, что не смогло французское революционное государство. Когда к контингентной цепочке событий добавляется еще одно событие, это существенно видоизменяет все последующие<sup>1</sup>.

2. За два десятилетия с 1945 по 1965 год почти все британские и французские колонии завоевали независимость. Различия в режимах, установившихся после обретения независимости, были во многом обусловлены событиями, случившимися еще до обретения независимости: поднимали ли националисты вооруженную борьбу против колониальной власти, какого рода экономика развивалась при колониализме и даже какой тип экономики существовал там до того, как эти земли были колонизированы европейцами — в ряде случаев многими столетиями ранее.
3. В 2012 году, когда я писал эту книгу, США вот-вот должны были присоединиться к прочим богатым и промышленно развитым странам мира и учредить общенациональную систему обязательного медицинского страхования своих граждан. Планы по созданию этой социальной льготы неоднократно выдвигались на протяжении всего XX века,

---

<sup>1</sup> Расширенное сравнение тех способов, с помощью которых историки и социологи пытаются объяснить революции, предлагает Абрамс (Abrams, 1982, p. 201–226).

но так и не были закреплены законодательно. В отсутствие общенациональной системы здравоохранения американские страховые и фармацевтические компании, больницы да и сама профессия медика сформировались во многом иначе, чем в странах, где общенациональная страховая система уже была введена. В результате, эта общеамериканская льгота, в конце концов законодательно закреплённая при президенте Обаме, неизбежно должна была принять совсем иную форму и оказать иное, более узкое воздействие на существующий механизм оказания медицинских услуг и стоимость здравоохранения, чем в том случае, если бы в предшествующие десятилетия сформировалась совокупная политическая поддержка принятия подобного законопроекта.

Американские медицинские расходы, вероятно, останутся выше, а итоговое состояние здоровья населения хуже, чем в странах, которые раньше создали свои общенациональные системы. Таким образом, если социолог медицины захочет объяснить, почему США сейчас занимают 34-е место среди других стран по средней продолжительности жизни, несмотря на то, что тратят 16% ВВП на здравоохранение, что на пятьдесят с лишним процентов больше, чем в любой другой стране мира (Jacobs and Skocpol, 2010, p. 21 and passim), ответ не отыщется в статических сравнениях систем, простом подчеркивании демографических различий среди населения разных стран или гипотетической склонности американцев к чрезмерному обращению за медицинской помощью. Скорее, различия обнаружатся в тех событиях, которые привели к созданию особых медицинских институтов в Америке за многие десятилетия до появления в XXI веке общенациональной системы.

В последующих главах мы непременно скажем гораздо больше о том, как историческая социология



рассматривает революции, империи и государства. Общая мысль, которую я хочу вывести из данных примеров, состоит в том, что понимание того, как люди создают и изменяют свой мир, и выявление соответствующих причин и следствий возможны только в рамках временной последовательности. Нам нужно знать, что происходило сначала, — иными словами, нам нужно изучать историю, устанавливая причинно-следственные связи. В основе всех добротных теоретических утверждений обязательно должна лежать тщательно продуманная концепция того, как формируются временные последовательности и насколько важную роль они играют.

Мы получим более ясное понимание того, насколько важно время, и узнаем, насколько точно мы можем судить о том, как время структурирует человеческие свободу и пределы выбора, когда посмотрим на публикации исторических социологов, охватив ряд самостоятельных предметных областей. У современных исторических социологов, в отличие от основателей социологии, работы, представляющие серьезный вклад в исторический анализ, весьма успешно сочетаются с прогрессивными наработками в области теории. Наилучшим образом понять, как делается историческая социология, и по достоинству оценить то, что ею предлагается, мы сможем, если разберем некоторые образцовые работы (образцовые как по своим достижениям, так и по своим упущениям и ограниченности).

Во второй главе мы посмотрим, как исторические социологи анализируют исходную проблему, лежавшую, как считали Маркс и Вебер, в сердцевине социологии, — проблему истоков капитализма. Позиции Маркса и Вебера, равно как и их преемников, разошлись отчасти из-за того, что они по-разному определяют капитализм. В свою очередь эти разногласия ведут к тому, что вопрос, где и когда возник капитализм, решается ими по-разному, а следовательно, говоря об изменениях, кульминацией которых была эта трансформация, в качестве собы-

тий и траекторий этих изменений каждый из них выделяет разное. Рассмотрев и взвесив эти конкурирующие определения и объяснения, мы увидим, как исторические социологи приступают к построению теорий и занимаются историческим анализом.

В третьей главе мы разберем, как посредством анализа революций и социальных движений изучаются внезапные исторические изменения. Нас снова будут волновать истоки и траектории изменений; кроме того, мы увидим, как социологи пытаются понять, почему темпы социальных изменений внезапно могут ускоряться и почему в определенное время и в определенном месте человеческий фактор становится более действенным.

В то время как революции несут угнетенным новую социальную власть, в случае империй имеет место противоположный эффект: покорение целых народов власти иностранных правителей. Господство в его наибольшем масштабе разбирается нами в четвертой главе. Мы увидим, как социологи пытаются осветить причины возникновения, долговременного существования (*endurance*) и исчезновения империй. Это позволит нам дать оценку приведенному выше утверждению Чакрабарти о том, что нельзя некритически пользоваться теориями, выработанными для объяснения феномена исторических изменений на Западе, для исследования социальных изменений в других частях света.

Весь земной шар (за исключением Антарктики) поделен между суверенными государствами. Будучи ареной капиталистического развития, ядром и компонентами империй и мишенью социальных движений, государства не раз будут появляться на страницах этой книги. Нередко бывает, что историческая социология рассматривает в качестве объекта изучения само государство. Историческая социология предлагает совсем иное понимание событий, составляющих ключевую сферу интересов исторической науки: войн, династических изменений, выборов. Выяснив, как социологи изучают

формирование государства, в пятой главе мы сможем ясно представить, как историческая социология подходит к событиям подобного рода и к тому, что ими порождается. Мы увидим, как социологи выстроили метанарративы об историческом развитии войны и национализма. И наконец, в этой главе будет показано, как социологи выстраивают исторические объяснения развития и дивергенции систем социального обеспечения по всему миру.

В социологических исследованиях одной из главных тем является тема неравенства, однако в большинстве своем данная исследовательская деятельность имеет аисторический и некомпаративистский характер. В то же время историки склонны обращаться к рассмотрению неравенства по-импрессионистски, не используя количественных методов. Вывести на новый уровень исследовательскую повестку и подходы обеих дисциплин к неравенству способны исторические социологи. В шестой главе мы увидим, как они это сделали.

В седьмой главе мы разберем, как историческая социология обращается к рассмотрению гендера. С самого начала гендерных исследований одним из их фирменных признаков было показать, насколько гендер пластичен и изменчив. Исторические социологи привносят в это интуитивное представление точность, прослеживая, как гендерные отношения трансформируются с течением времени. Мы увидим также, как изучение гендера связывается в их работах с политикой государства и с подробным изучением изменений, происходящих с формой и динамикой ведения домашнего хозяйства.

Историческая социология, да во многом и вся остальная социология, пережила «культурный поворот». Этот поворот, отслеженный и горячо приветствуемый Адамс, Клеменс и Орлофф (Adams, Clemens, and Orloff, 2005), не раз предстанет перед нами в уже упомянутых главах. В восьмой главе будет затронут вопрос о том, как сама культура становится предметом и причинной

силой в объяснениях исторических социологов. В последнее время американская социология культуры занимается главным образом современными США, практически полностью игнорируя десятилетия исследований культуры в Европе. В этой главе я пытаюсь показать, как история культуры вносит свой вклад в наше понимание дебатов и предметов обсуждения из предыдущих глав и как она конституирует себя в качестве жизнеспособного предмета изучения.

Теории и методы, разработанные социологами для изучения исторических изменений, могут использоваться — и уже используются — в том числе и для того, чтобы делать предсказания о будущем. В девятой главе, которой завершается эта книга, мы увидим, как приемы контрфактической истории могут быть обращены на изучение будущего. Наши трактовки капитализма, государств и империй в качестве социальных систем обеспечивают базис для предсказания источников будущих кризисов и того, как они будут протекать. Также историческое понимание обеспечивает контекст для рассмотрения последствий таких беспрецедентных событий, как, например, глобальное потепление.

## ГЛАВА 2. ИСТОКИ КАПИТАЛИЗМА

Как исторические социологи исследуют свидетельства, как они работают с методами кейсов и межстранового и межвременного сравнения, как выстраивают аргументацию и полемизируют друг с другом? Попробуем ответить на этот вопрос, разобрав полемику вокруг той проблемы, с которой социология и началась, — проблемы истоков капитализма. На самом деле эта «полемика» слагается из целого ряда переплетенных между собой дебатов, отличительными чертами которых выступают различные способы определения их участниками понятия «капитализм». Для Маркса капитализм — это отношение эксплуатации, система, основывающаяся на закреплении капиталистами исключительных прав собственности на средства производства, некогда находившиеся в коллективном распоряжении или поделенные между различными группами с частичными и взаимопересекающимися правами на труд или на присвоение части произведенного продукта. Для Вебера капитализм был просто лишь неким видом систематического рационального действия. Среди марксистских ученых существует размежевание относительно того, чем именно определяется капитализм — рыночным производством или использованием наемного труда. В 1960–1970-х годах на смену веберовской озабоченности происхождением только лишь первых примеров рационального действия пришла теория модернизации, обнаруживающая у людей многих стран и эпох жажду беспрецедентного материального изобилия и готовность к каким угодно трансформациям этих обществ ради того, чтобы жить примерно так же, как живут люди в модернистских обществах в других странах. Есть и другие ученые, которые характеризуют капитализм как некую глобальную сис-

тому и свою задачу видят в отслеживании и объяснении процесса глобализации локальных обществ и экономик.

Если у капитализма так много разных определений, значит, ученые могут отыскать его истоки во многих местах и эпохах, во многих причинно-следственных рядах. В связи с этим можем ли мы сейчас вести исследовательскую деятельность, критиковать прошлые теории и осуществлять интеллектуальный прогресс? Возможно ли привести эти разные дебаты к общему знаменателю? Как мы увидим в последующих главах, похожие проблемы соперничающих определений и споров почти об одном и том же, которые в действительности глухи друг к другу и не приводят к окончательным выводам, также стали настоящей напастью и для исследовательской работы в отношении революций, государства и социальной политики, гендера и семьи, более того — практически любой темы.

Тем не менее исторические социологи все же нашли выход из ситуации с безрезультатно ведущимися дебатами. Это было сделано, когда они сосредоточились на выявлении собственно самого момента исторического изменения. Как только у нас будет знание о том, в какой именно момент времени имело место некое значительное изменение (то, что Сьюэлл [Sewell, 1996] и Абрамс [Abrams, 1982], с которыми мы встречались в предыдущей главе, называют «событиями»), тогда мы сможем задать вопрос, что же происходило непосредственно перед этим моментом, а значит — и найти причины и выявить последовательность того, как протекало контингентное изменение. Давайте посмотрим, как это было проделано в отношении истоков капитализма.

К достоинствам Вебера относится то, что он очень ясно говорит о том, когда, по его мнению, начался капитализм. В феодализме Вебер видел некое «хроническое состояние» (Weber, [1922] 1978, p. 1086), неспособное трансформироваться за счет своей собственной внутренней динамики. В результате, он с надеждой

обратился к некоей внешней силе, а именно к протестантской Реформации, которая должна была нарушить сложившиеся социальные отношения и стать искрой для возникновения рационального действия и капитализма (Weber, [1916–1917] 1958; Вебер, 1990). При всей своей теоретической элегантности аргумент Вебера неверен с фактической точки зрения. Вебер и исторически невежественные социологи, воспринявшие его некритически, понятия не имеют, что критику средневекового католицизма, схожую с критикой Лютера и Кальвина, предложили еще теологи предшествующих эпох, и что английский протестантизм дал начало не только политически репрессивной и капиталистической идеологии, но и либертарианскому коммунизму (Hill, 1972), и что доктрины, благословляющие капиталистические практики и рациональное действие, были в скором времени развиты католическими теологами и иерархами (Delumeau, [1971] 1977).

Протестантская Реформация несомненно являлась событием (в том смысле, в каком в этой книге нами употребляется это слово), в котором были нарушены и трансформированы повседневные практики и социальные отношения, и тем не менее Вебер, выдвигая свой аргумент, игнорирует прочие события, которые, согласно выводам историков, имели даже еще более важное влияние на те исходы, которые он стремится объяснить. Хотя построение теории и формулирование объяснений комплексных исторических изменений не обходятся без вынесения решений относительно того, какие исторические события имеют значение, в случаях, когда упрощение заходит слишком далеко, оно приводит к искажениям, как это было с «Протестантской этикой» Вебера. Сам Вебер в последней своей работе «История хозяйства» признает, что капитализм имел множество взаимосвязанных причин, многие из которых возникли задолго до протестантизма (Collins, 1980). Впрочем, эта запоздалая теория, со своим очень протяженным временным

горизонтом, не в состоянии ни объяснить, почему капитализм появился в некий конкретный момент, ни осветить причины его весьма неравномерного развития в разных регионах Запада.

То, что упустили Вебер и Маркс, было по-разному построено или восполнено веберийцами и марксистами, создавшими традиции теоретического строительства и исследовательской деятельности, которые либо принесли плод в виде конкретных теоретических озарений, либо завели дело в тупик. Тезис Вебера о протестантской этике положил начало теории модернизации, которая должна была расширить его аргумент о трансформации, случившейся в отдельно взятых месте и времени, и превратить этот аргумент в «поиск эквивалентов протестантской этики в незападных обществах» (Eisenstadt, 1968, p. 17). Теоретики модернизации подразделяют общества на традиционные (в которых не наблюдается больших социальных изменений, потому что люди не в состоянии представить, каким образом они могли бы улучшить свое материальное положение, и поэтому не делают попыток переосмыслить или оспорить те практики и убеждения, которые унаследованы ими от их предков) и модернистские (modern). Признаком модернистских обществ является некий общий «интерес к улучшению материального положения» (Levy, 1966, p. 746). Коль скоро европейцы, благодаря протестантской этике, однажды продемонстрировали, что подобное улучшение может быть достигнуто с помощью рационального действия, люди «будут всегда стремиться реализовать этот интерес, если им покажется, что сделать это позволяют благоприятные возможности» (Ibid.). Поэтому задачей для теоретиков модернизации стало выяснение того, какие преграды понадобится преодолеть, чтобы добиться экономического роста и социальной трансформации, необходимых для превращения общества в модернистское (Levy, 1972).

В теории модернизации контингентность занимает очень малое место. События замечаются главным



образом тогда, когда ими вносится вклад в преодоление преград и они способствуют модернизации. Эта теория не стремится объяснить вариативность, так как предполагается, что конечный результат — желание непрерывного улучшения материальных условий и способность достичь желаемого — повсюду одинаков или в конечном счете станет таковым. Недостаточная модернизация, или медленный рост, объясняется неудачей реформирования традиционных обществ — неудачей, которую можно преодолеть когда угодно, стоит только народу (или лидерам, или же тем, кто предоставляет внешнюю помощь) решить повторить те же шаги, что были совершены успешными модернизаторами. Теоретикам модернизации почти нечего сказать о конфликтующих интересах или эксплуатации, в основном, оттого, что они полагают, будто от модернизма (modernity) пользу получает каждый.

Есть несколько недавних работ, в которых веберовская озабоченность ролью религии в историческом изменении стала предметом тщательного исторического исследования и строгого анализа. Мэри Фулбрук (Fulbrook, 1983) предлагает объяснение проигнорированного Вебером многообразия протестантских идеологий. Она приходит к выводу, что чисто теологические доктрины английских пуритан и немецких пиетистов были адаптированы ими для рассмотрения экономической и политической проблематики лишь тогда и в той мере, когда и в какой власть имущие замахнулись на их институциональные свободы. Филип Горски (Gorski, 2003) рассматривает теорию Вебера в ином ключе, полагая, что кальвинизм эффективнее всего высвобождал в самих верующих страстное стремление к дисциплине — и что еще существеннее — руками самих же верующих, в качестве правительственных чиновников и работодателей, стоявших над подданными и наемными работниками. Это не значит, что модель Горски предполагает, что капитализм или государства были созданы кальвинизмом;

скорее, кальвинизм сделал государства более эффективными и расширил их амбиции. Горски признает, что и прочие протестантские деноминации, и католицизм также способствовали формированию каких-то иных, зачастую менее дисциплинарных, импульсов, и он достаточно осмотрителен, чтобы избежать утверждения, будто сопряженность между протестантизмом и дисциплинарным государством сказала также и на других сферах человеческой деятельности, как о том заявлял Вебер. Подобным же образом Эйко Икегами (Ikegami, 1995) прослеживает, как по мере инкорпорирования самураев в крепнущее японское государство (а позже и в капиталистические предприятия) были трансформированы японская религия и самурайские понятия о чести. Икегами не заявляет, будто в Японии существовал функциональный эквивалент протестантизма, вместо этого она подчеркивает, что японская религия создала специфические формы японского предпринимательства и администрирования.

Фулбрук, Горски и Икегами проявляют тщательность и аккуратность, когда первым делом в точности определяют, какие именно формы поведения и институты попали под воздействие новых религиозных доктрин, а затем обрисовывают, какое воздействие данные формы поведения и институты оказали на государство или капитализм. Они показывают, каким образом изменение может быть сведено к определенным аспектам человеческого действия, и не разделяют мнение, будто всеохватная рациональность или модерность (modernity) высвобождаются через идеологическое или институциональное изменение. Горски, Фулбрук и Икегами, очень осторожные в своих выводах, воздерживаются от того, чтобы предлагать общую теорию об истоках капитализма. К счастью, это не перестало быть целью марксистской историографии.

Маркс интересовался истоками капитализма главным образом для того, чтобы продемонстрировать

нелегитимность имущественных прав капиталистов, а вовсе не для того, чтобы точно указать, когда начался капитализм или в подробностях описать путь от раннего капитализма к зрелому. Первых капиталистов Маркс обвинял, во-первых, в использовании насилия и обмана для перевода коллективных прав феодального землевладения в частную собственность, а во-вторых, в том, что они завоевывали неевропейские народы:

Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги по завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих — такова была утренняя заря капиталистической эры производства. Эти идиллические процессы суть главные моменты первоначального накопления (Marx, [1867] 1967, vol. 1, p. 751; Маркс, Энгельс 1960, с. 760)<sup>1</sup>.

В конце концов, история по Марксу — это история того, как функционируют капитализм и капиталисты, а не история их происхождения. В результате, Маркс никогда не дает точных указаний на время начала капитализма; не найти у него и ответ на важнейший вопрос, почему социальные акторы оказались в состоянии заняться первичным накоплением и тем самым «запустить» капитализм не раньше наступления какого-то конкретного момента времени и не где угодно, а именно в Европе.

Из-за отсутствия у Маркса ясности относительно сроков начала капитализма и недостаточного внимания с его стороны к тому, чем ранний капитализм отличался от своей зрелой формы (именно ее ему интереснее всего было разбирать), его работы оказались не слишком полез-

---

<sup>1</sup> Валлерстайн сделал этот пассаж эпиграфом к первому тому своей «Современной миросистемы» (Wallerstein, 1974).

ными для тех марксистов, которые участвовали в начавшемся в 1940-х годах споре по вопросу «перехода от феодализма к капитализму». Эти марксисты, независимо от различий между ними, были едины в том, что их задачей является объяснить, как из некоей существующей социальной системы развился капитализм. Возможно, это покажется незначительным достижением: в конце концов, все социальные системы и все социальные события сформировались в том обществе (каким бы при этом оно ни было), какое существовало до момента этого перехода. Тем не менее многим исследователям общества (если не большинству) настолько не терпится описать и проанализировать изучаемое ими событие или социальную систему, что сам исторический контекст, в котором все и совершалось, упускается ими из виду. Несомненно, как мы видели выше, это проблема, свойственная Веберу и большинству веберянцев: глубоко убежденные, что феодализм или традиционное общество стагнируют, они игнорируют докапиталистическую динамику и вместо этого конструируют теории о том, как протестантизм или модернизация вдруг ни с того ни с сего создали совершенно новый социальный мир.

Марксисты избрали иной, весьма отличный от веберянцев подход. Вместо того чтобы выявить какой-то единственный путь, ведущий от множественных, хоть и туманно описанных, традиционных обществ к капитализму или модернизации, марксисты с головой ушли в исторические свидетельства в попытке точно указать время и место рождения капитализма. В сущности, веберянцы (за исключением таких образцовых представителей исторической науки, отличающихся тщательным отношением к делу, как Фулбрук, Горски и Икегами) стали менее историчны, чем Вебер, тогда как марксисты стали историчнее Маркса.

У марксистов в их спорах о переходе от феодализма к капитализму не было согласия относительно того, что такое капитализм, а следовательно, и относительно

того, в каких именно знаках им нужно было распознать его происхождение. Позиция, впервые сформулированная Полом Суизи (Sweezy, [1950] 1976), определяла капитализм в качестве рыночного производства. Эти марксисты в определенном смысле уподобились Веберу. Они не представляли, каким образом феодальные классовые отношения могут порождать капитализм. Вместо этого источник рынков и буржуазии они видели в крупных городах, существовавших, по их мнению, в некоем выделенном пространстве вне феодального общества.

Трудность здесь заключается в том, что обширные рынки существовали и в феодальной Европе, и в других докапиталистических обществах (включая Древний Рим). И тем не менее районы с наиболее обширными рынками в средневековой и возрожденческой Европе, как, например, урбанизированная Италия, не становились локусами последующего экономического развития, несмотря на свои преимущества в виде большего накопления капитала и контроля над существовавшими торговыми сетями. Попытка найти движитель капиталистического перехода вне феодализма была для марксистов столь же тупиковой, как и для Вебера и сторонников теории модернизации.

Гораздо плодотворнее был подход, предпринятый Морисом Доббом (Dobb, 1947), с которым как раз и полемизировал Суизи. Добб, в большей степени следуя Марксу, определял капитализм в качестве отношения эксплуатации. Добб и его интеллектуальные союзники<sup>1</sup> искали свидетельства того, когда и где крестьяне лишились

---

<sup>1</sup> Спор между Доббом и Суизи и прочими участниками дискуссии опубликован в: Hilton, 1976. Большинство авторов поддерживают и разрабатывают позицию Добба, причем Кохатиро Такахаси обсуждает применимость аргумента Добба и к японскому феодализму. Этот спор был возобновлен Бреннером (Brenner, 1976). Оригинальная статья Бреннера, возражения критиков и его ответ воспроизводятся в: Aston and Philpin, 1985.

земли и превратились в наемных работников, тогда как землевладельцы приобрели полный контроль над землей как частной собственностью. Преимущество этого подхода состоит в том, что он сосредоточился на существующей социальной системе и поставил вопрос о движущей силе внутри феодализма, которая трансформировала его и сделала это так, что в конечном счете плодом трансформации стал капитализм.

Ключевым историческим моментом для этой школы марксистов была эпидемия черной смерти — чумы 1348 года, рассматриваемая большинством историков в качестве великого водораздела в истории феодальных аграрных экономик. Резкий спад численности населения привел к оскудению крестьянских трудовых резервов и покончил с нехваткой пахотной земли. Безземельные крестьяне пытались пересмотреть условия земельной ренты или перебраться туда, где землевладельцы могли предложить лучшие условия, в то время как землевладельцы стремились вынудить крестьян не покидать их поместья. В Восточной Европе землевладельцы успешно справились с повторным закрепощением большей части своих крестьян, тогда как большинство английских и французских крестьян смогли отвоевать у своих феодалов большую автономию.

Не тот ли это момент, когда начался капитализм, не здесь ли марксистский контрапункт веберовской Реформации? Не совсем так. Морис Добб (Dobb, 1947) полагает, что благодаря созданию «режима мелкохозяйственного производства», характеризующегося коммерческой земельной рентой и ограниченной пролетаризацией, английские крестьяне смогли воспользоваться своими новыми свободами, а землевладельцы — приспособиться к ослаблению своего контроля над арендаторами. Он доказывает, что полноценный капитализм дождался уничтожения цеховой и аристократической власти в ходе Английской революции 1640 года.

Доббовский анализ перехода от феодализма к капитализму содержит два серьезных изъяна. Во-первых, Добб не способен объяснить, откуда взялась двух-трехвековая задержка между отменой крепостного труда после черной смерти и складыванием частной собственности на землю с пролетаризацией многочисленных масс крестьян в столетие, следующее за Реформацией Генриха VIII (Lachmann, 1987, p. 17). Во-вторых, он не способен объяснить, почему сходные режимы мелкохозяйственного производства и сходные позднефеодальные политические системы вызвали буржуазную революцию в Англии на полтора столетия раньше, чем во Франции. Что касается этого второго момента, несостоятельность Добба связана с тем, что он так и не распознал движущую силу, внутренне присущую тому режиму мелкохозяйственного (или феодального) производства, которым была порождена английская буржуазия, сумевшая нанести поражение аристократии в 1640 году, пока рост подобного же класса во Франции был заторможен. Несмотря на то что он так и не дал точного описания той действительной последовательности контингентных событий, которая вела от черной смерти к английскому капитализму, исследовательскую деятельность он сосредотачивал на трех столетиях от черной смерти 1348 года до английской революции 1640 года, стимулируя дальнейшие дебаты и прокладывая путь для дальнейших сравнительных исторических исследований классовых конфликтов и экономического и политического изменения в Европе.

Очередные крупные шаги вперед были сделаны Робертом Бреннером (Brenner, 1976, 1982) и Перри Андерсоном (Anderson, 1974; Андерсон, 2010). Бреннер и Андерсон, как и Добб, видели в черной смерти критический поворотный пункт, но по-разному оценивали ее влияние. В отличие от Добба, сосредоточившегося почти исключительно на Британии, Бреннер и Андерсон сравнивали Восточную и Западную Европу и Британию и Францию. Бреннер подчеркивал важность институтов крестьянской

общины, которые, как он утверждал, предопределяли способность крестьян сопротивляться требованиям землевладельцев после черной смерти. Сила (или слабость) крестьянства в свою очередь сказывалась на «самоорганизации правящего класса» (Brenner, 1982, p. 69), то есть на форме государства и степени купеческой автономии. Таким образом, в Восточной Европе, где общинная организация крестьянства была слаба, землевладельцы смогли принудительно обратить крестьян в крепостное состояние, но ценой этого стали экономическая стагнация и отсталость.

Картина Восточной Европы, нарисованная Андерсоном, схожа с бреннеровской, но его каузальная последовательность все же отличается в одном критически важном отношении. Андерсон начинает с того факта, что до черной смерти землевладельцы Восточной Европы были дезорганизованы и изолированы, и эпидемия сделала их уязвимыми как для иностранных армий, так и для армий могущественной знати внутри их собственных стран. В результате восточноевропейская знать оказалась инкорпорирована в рамках могущественных абсолютистских государств. У этих государств имелся потенциал для сдерживания автономных городов и вторичного закрепощения крестьян, и поэтому они лучше оберегали коллективный классовый интерес аристократии, чем более раздробленные и децентрализованные государства в Западной Европе. Чтобы объяснить организационную мощь государств, крестьян и купечества, Бреннер и Андерсон обращают взоры к изменениям в сельскохозяйственном производстве. С точки зрения Андерсона, потенциал крестьянского класса сформировала организация правящего класса, тогда как для Бреннера причинно-следственные связи действуют здесь в обратном порядке.

Акцент Андерсона в «Родословной абсолютистского государства» на внутренней движущей силе правящего класса позволяет ему более убедительным образом,



нежели у Добба или Бреннера, показать, как в Западной Европе за века, прошедшие после черной смерти, феодализм трансформировался в капитализм. Вспомним Добба, сказавшего всего лишь, что капитализмом режим мелкохозяйственного производства стал после уничтожения аристократии, но не предложившего никакого объяснения того, как именно была уничтожена аристократия или откуда возникла та буржуазия, которая уничтожила аристократию. Бреннеру лучше всего удастся объяснить, почему экономика Восточной Европы оставалась отсталой, а также почему Франция развивалась медленнее Англии. Бреннер полагает, что во Франции аристократическая фракция, обладающая наибольшим потенциалом для преследования своих интересов, клика внутри самого государства, присваивала денежные поступления такими способами, которые задерживали развитие производительных сил. Высокий уровень изъятия вынудил французских крестьян заводить большие семьи, делить на части свои земельные наделы и заниматься трудоемкими формами хозяйствования. Излишки, присваиваемые связанными с государством аристократами, тратились на политическое инвестирование, которое поддерживало феодальные производственные отношения. Андерсон утверждает, что абсолютистские государства, увековечивая феодализм на Востоке, в то же самое время опекой автономных городов, поощрением мануфактурного производства (изначально для своих вооруженных сил), покровительством внешней торговли и созданием государственных учреждений и государственных долговых обязательств трансформировали классовую динамику в Западной Европе. С точки зрения Андерсона, городские жители, владельцы мануфактур, торговцы, государственная бюрократия и держатели государственных долговых обязательств стали основой буржуазии. Андерсон продвигает свой анализ, сравнивая пять западно- и четыре восточноевропейских страны, с привлечением также исламского мира и Японии.

Это дает ему дополнительный инструмент для выявления значимых переменных и причинно-следственных путей, отличных от того, чего достигает Бреннер сравнением Востока и Запада, а затем Франции и Англии, или Дobb, в поле зрения которого попадает только Англия.

Андерсон выявляет пятиступенчатую причинную последовательность, которая перевела Европу (или первоначально Британию) от феодализма к капитализму.

1. Классовый конфликт землевладельцев и крестьян после черной смерти вынужденно привел к реорганизации аристократии.
2. Политико-правовое принуждение было смещено вверх — в абсолютистские государства.
3. Различающиеся формы этих государств в Восточной и Западной Европе были обусловлены тремя факторами: мерой сословной организации аристократов, степенью городской автономии и силой внешних военных угроз.
4. Форма каждого государства предопределяла степень и меру развития буржуазного класса в условиях абсолютизма, а также зависимость от него.
5. Буржуазия свергла абсолютистские государства в Западной Европе, обеспечив тем самым возможность беспрепятственного развития капитализма.

Это значительный шаг вперед по сравнению со всеми прежними марксистскими — и даже немарксистскими — исследованиями феодальной динамики и истоков капитализма. И все же анализ, предложенный Андерсоном, содержит некоторые проблемы. По правде говоря, он так и не проанализировал английскую революцию. Хотя французское государство было сильнее, а французские города и государственные чиновники более могущественны, революция во Франции произошла на сто с лишним лет позже британской революции, притом что модель Андерсона предсказывала, что французское

государство должно было взрастить более многочисленную и более напористую буржуазию, нежели его слабый английский аналог.

Ни Бреннер, ни Андерсон не в состоянии объяснить, как в отсутствие в Англии сильного государства крестьяне, которым удавалось противостоять требованиям аристократии после черной смерти, два века спустя поддались давлению землевладельцев. Вместо этого Бреннер просто-напросто говорит о том, что английские землевладельцы стали капиталистами: «Неспособные заново насадить систему внеэкономического принуждения для крестьянства, землевладельцы вынуждены были использовать остающиеся у них феодальные полномочия для содействия тому, что в конце концов обернулось капиталистическим развитием» (Brenner, 1982, p. 84). В чем именно состояли эти полномочия помимо «сохраняющегося контроля над их землями» (Ibid.) или как именно землевладельцы использовали подобный контроль, Бреннер так и не сказал. Также Андерсон не объясняет, каким образом английская революция трансформировала абсолютистское государство или взрастила капитализм. (Такой анализ был отложен на обещанное, но так и не написанное продолжение «Родословной абсолютистского государства».) Вместо этого его глава об Англии обрывается заключением: «Прежде чем он достиг возраста зрелости, английский абсолютизм был свергнут буржуазной революцией» (Anderson, 1974, p. 142; Андерсон, 2010, с. 133).

Причинный анализ Андерсона слабее всего там, где — и это неудивительно — наиболее туманна его методология, а именно в уточнении специфики действующих сил. «Родословная абсолютистского государства» выводит на первый план широкие категории акторов — аристократов, крестьян, буржуа, определяемых исключительно в марксистских терминах. Сравнения Андерсона, имеющие теоретическое происхождение, довольно хорошо работают в случае Восточной Европы, где ари-

стократия как действующая сила была почти полностью организована посредством сословий и где почти все буржуа были держателями жалованных государством городских привилегий. Его категории достаточно точны, чтобы с помощью первых трех ступеней его причинного объяснения проанализировать конфликт между землевладельцами и крестьянами в Западной Европе.

Невнимание Андерсона к уточнению специфики действующих сил становится наиболее проблематичным на четвертой и пятой ступенях, когда он стремится объяснить, каким образом в рамках абсолютизма сложилась буржуазия, имевшая интересы, противоположные аристократии, и почему эта буржуазия стала революционной в ее противостоянии правящему аристократическому классу. Андерсон так и не предложил методологии для идентификации этих новых буржуа. Те площадки формирования буржуазного класса, которые он выявляет — государственные учреждения, автономные города, мануфактуры и внешняя торговля, также были обжиты аристократами. Как мы можем приписывать разные классовые идентичности тем, кто занимает одну и ту же площадку? Какие факторы позволяют нам узнать, в какой момент акторы начинают отделять свои интересы от интересов тех абсолютистских государств, которые некогда наделили их привилегиями?

Андерсон так и не дает развернутого ответа на эти вопросы. Когда он пишет о феодальной власти, передислоцирующейся в рамках государства, он обнаруживает возможность того, что внутри феодализма власть может размещаться в пределах — и осуществляться посредством — различных институциональных механизмов. Духовенство, дворянские блоки в провинциях, сословия, чиновничество, привилегированные купцы, монархи и их прислуга — все процветали благодаря эксплуатации феодального крестьянства. Все они были частью феодального правящего класса. И все же, как показывает

Андерсон, последовательно разбирая случай за случаем, формы господства и эксплуатации могут изменяться. Так как каждый тип феодальных привилегий имеет институциональные основания, и это не всегда маноры, появляется возможность наглядно представить обитателей каждого типа абсолютистской институции в качестве элиты, что и было сделано мною в анализе истоков капитализма (Lachmann, 2000; Лахман, 2010).

Конфликты в среде элит можно считать контингентной причиной структурных изменений, четко опознаваемой движущей силой, действующей как до, так и наряду с феодальными классовыми конфликтами и международной войной. Элиты обуржуазились в конце длинной цепи контингентных конфликтов. Возникновение капиталистических интересов и классовых отношений стало решением для проблем феодальной элиты и классового конфликта в рамках абсолютистских государств. Так, из-за того что конфликт элит сконцентрировал контроль над землей и местным самоуправлением в руках элиты из джентри, имевшей организационный потенциал и рычаги политического воздействия в целях обезопасить свое структурное положение от государственных элит сверху и крестьян и пролетариев снизу, в Англии буржуазная революция случилась на полтора столетия раньше, чем во Франции, и Англия, быстро нагнав Нидерланды и другие западноевропейские центры коммерции, стала первой промышленной державой. Английские джентри в своих усилиях разбить соперников в конфликтах элит умудрились накопить капитал, пролетаризировать рабочую силу и сформировать государство, наилучшим образом подходящее для защиты отечественной экономики и завоевания внешних рынков. Именно этим путем — посредством серии контингентных событий — конфликты феодальной элиты и классовые конфликты привели к английскому государству и аграрному способу производства, обеспечившим пред-

варительные условия для того, чтобы Британия первой создала промышленный капитализм.

Наше понимание истоков капитализма само по себе не объясняет ни контуры последующего капиталистического роста и индустриализации, ни возникновение капиталистической мировой экономики. И все же те методологические уроки, которые мы можем извлечь из вышеприведенного обзора споров об истоках капитализма, могут помочь нам рассудить ученых, обращающихся к рассмотрению экономического развития и меняющейся иерархии капиталистических экономик в более поздние столетия. Если мы хотим понять, почему определенные страны стали богаче других и умудрились эксплуатировать другие регионы мира, нам вновь придется использовать те же методы, которые позволили нам прийти к лучшему пониманию истоков капитализма. Прежде всего нам нужно выявить последовательность событий, которые вызвали структурные изменения.

Многие работы по вопросам экономического развития, особенно подготовленные экономистами, опираются на те же самые предпосылки, что и теория модернизации (более того, основная масса экономистов, изучающих развитие, были воспитаны на теории модернизации или используют в работе формальные модели, являющиеся производными от этой точки зрения). Этот подход предполагает, что исторический период и временная последовательность не имеют никакого значения, что развитие и экономический рост могут начинаться в любой момент времени.

Этот взгляд наиболее мощно оспаривается теорией миросистем. Разработанная Иммануилом Валлерстайном (Wallerstein, 1974–2011) и Джованни Арриги (Arrighi, 1994; Арриги, 2007) миросистемная теория показывает, как экономика каждой страны стала частью глобальной капиталистической системы, впервые возникшей в XVI веке. Валлерстайн демонстрирует эффекты этой системы,

проводя тщательные сравнения экономик за то время, как они втягивались в мировую экономику. Оба автора показывают (все так же с помощью сравнений во времени и пространстве), насколько по-разному развиваются страны в ядре, на полупериферии и периферии миросистемы в зависимости от того, какое положение они занимают в мировой экономике: эксплуатируемое или связанное с получением выгод от этой эксплуатации. В сущности, Валлерстайн и Арриги написали целую серию контингентных историй (histories) о разных национальных, региональных и позиционных участниках мировой экономики, одновременно сводя эти элементы воедино, чтобы показать структурную динамику самой миросистемы в целом.

Как и все аналитики, Валлерстайн и Арриги сами решили, на каких элементах должен делаться акцент и какие пути контингентности должны проследиваться в написанных ими версиях мировой истории. Связность и объяснительная сила предложенного ими анализа определяются сосредоточенностью авторов на функционировании миросистемы в целом, а поэтому на первый план они выдвигают те вещи, посредством которых классовые и национальные акторы ограничены тем, какое положение занимают они в этой системе. Их модель в меньшей степени способна объяснить, почему положение некоторых стран в ней меняется; вместо этого она сосредотачивается на оценке последствий подобных сдвигов (например, сдвиг Южной Кореи с периферии на полупериферию) для последующей политической структуры и экономического развития этих стран.

Цейтлин (Zeitlin, 1984) обращается к рассмотрению этой лакуны в миросистемной теории, разбирая случай Чили и показывая, что, благодаря крупным запасам ключевых полезных ископаемых, у Чили был путь к тому, чтобы стать индустриализированной экономикой ядра (core economy). Государство могло бы создать

инфраструктуру, прежде всего железнодорожные пути, и предложить другие дотационные меры, которые позволили бы чилийским фирмам развиваться независимо от заинтересованных британских горнодобывающих кругов. Отечественная горнодобывающая промышленность создала бы тогда достаточный спрос для стимулирования обрабатывающей отрасли. Владельцы крупных поместий в Центральной долине нашли способ заблокировать такую политику, так как в противном случае их обложили бы налогом на поддержку промышленного развития и поскольку растущая промышленная отрасль оттянула бы рабочих из сельскохозяйственной сферы, повысив затраты на оплату их труда. Судьба Чили решилась в двух гражданских войнах в 1850-х и 1890-х годах, в которых победила фракция, возглавляемая крупными землевладельцами; это случилось отчасти потому, что горнодобывающая элита разделялась по региональным и семейным признакам. Во второй гражданской войне горнодобывающая буржуазия выступала союзницей авторитарного президента, поэтому по иронии судьбы победа сельскохозяйственной элиты также упрочила выборную демократию, пусть и став гарантией зависимого экономического положения Чили. Цейтлин приходит к следующему заключению: «Классовые отношения внутри стран придают облик глобальным отношениям между ними» (Zeitlin, 1984, p. 234).

Критика Цейтлиным миросистемной теории подчеркивает важность контингентности. Хотя положение в миросистеме оказывает мощное сдерживающее влияние на страны (и на классы и элиты в качестве акторов), иногда все же возникают открытые возможности для действий, трансформирующих социальную структуру. Подобные моменты возможности можно выявлять посредством тщательно проведенного сравнительного анализа или через отслеживание цепочек контингентности в рамках отдельно взятых случаев. Но все же часто, а то и как правило, подобные возможности



не реализуются. Как показывает Цейтлин, служащие собственным интересам чилийские элиты ухитрились принять политику, отбросившую их страну на периферию, а большинство их соотечественников — хотя и не их самих — к нищете.

Возможность капиталистического развития была сорвана также и в ренессансной Италии вследствие целого ряда контингентных шагов. Итальянские города-государства были центрами торговли на дальние расстояния, мануфактурного производства и банковского дела, все же обратившимися вспять к феодальным формам сельского хозяйства и политической жизни. Эмай (Emigh, 2009) (мы разберем ее в шестой главе), Эймар (Aymard, 1982), Эпштейн (Epstein, 1991), Тэрроу (Tarrow, 2004) и Лахман (Lachmann, 2000, ch. 3; Лахман, 2010, гл. 3) предлагают разнящиеся, хотя по большому счету комплементарные анализы. Общее у них одно, а именно сосредоточение на одном единственном негативном случае: города-государства ренессансной Италии обладали определенными чертами, которые другие авторы называют среди предварительных условий или причин капитализма, но развития капитализма здесь все же не происходило. Данный негативный итог побуждает этих ученых искать другие факторы или контингентные последовательности, которыми были созданы политические и экономические структуры, отличающиеся как от феодальных обществ, так и от тех мест, где в более поздние столетия происходило развитие капитализма. Поступая подобным образом, эти авторы показывают, что инвестиции и инновации в сельском хозяйстве были подорваны совершенно конкретными способами (по-разному проанализированными Эймаром, Эпштейном и Эмай) эксплуатации сельской местности городами и что конфликт элит и классовый конфликт сказались на институциональной структуре городов-государств таким образом, что перекрыли возможность для наращивания государственного потенциала, необходимого для капиталистического развития

(Тэрроу), и привели элиты к рефеодализации экономики и политики (Лахман).

Разборы случаев, негативные разборы случаев и межстрановые и межвременные сравнения позволяют получать ответы на конкретные вопросы. Задача исторических социологов состоит в выявлении подходящих случаев и подборе того способа анализа, который лучше других позволит им опереться на прошлый вклад ученых в продолжающуюся полемику и критически отнестись к нему или начать изучение новых проблем. Авторы, рассмотренные нами в этой главе, сообща вносят свой вклад как в понимание истоков капитализма, так и в освещение взаимодействий, складывающихся между структурой и контингентными изменениями. Анализ структуры и контингентных изменений обеспечивает исторический контекст для понимания действующего начала, темы следующей главы.

## ГЛАВА 3. РЕВОЛЮЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Одни события имеют гораздо более весомые последствия, чем другие. Революции стоят в ряду наиважнейших событий мировой истории. Каким образом мы можем изучать такие эпохальные исторические моменты? Как мы объясняем, почему иногда социальные акторы решаются пойти на огромные риски, чтобы бросить вызов власти имущим, когда большинство людей смиряется с существующим социальным порядком? Увидев, как к ответам на эти вопросы шли некоторые исторические социологи, мы сможем прояснить методы рассмотрения роли человеческого фактора в историческом изменении.

На протяжении большей части человеческой истории большинство людей жили плохо, в условиях обездоленности и эксплуатации, и они были несчастны из-за своего положения. Чтобы создать социальное движение или разжечь революцию, обнищания недостаточно. По выражению Бэррингтона Мура, «в репертуаре человеческих ответов на депривацию и несправедливость агрессивное контрнаступление едва ли является тем ответом, возникновение которого ожидается автоматически или каким-либо “естественным” образом» (Moore, 1978, p. 161). Если мы хотим объяснить, почему случаются революции и социальные движения и насколько важное значение они имеют, нам нужно проделать три четко определенных шага.

- Во-первых, мы обязаны выявить временные моменты, в которые случались революции или социальные движения. Отчасти это проблема дефиниций, точно так же как и с объяснением истоков капитализма. Сосредоточившись на выявлении моментов историче-

ского изменения, мы сможем прорваться сквозь безрезультатные споры, как это было и с вопросом об истоках капитализма. При рассмотрении революций нам нужно отыскать эпизоды, когда не только свергались правители, но трансформировалась сама форма правления. При рассмотрении социальных движений нам нужно найти моменты, когда народные группы выходили за пределы протестов и предъявления требований и на деле отвоевывали значительные уступки у тех, против кого они мобилизовались.

- Во-вторых, нам нужно разобрать, насколько подобные моменты эффективного действия против правителей отличаются от того, что происходило до этого. Другими словами, нам нужно объяснить, почему революция произошла именно в этой временной точке, а не раньше, или почему социальное движение отвоевывало уступки в определенный момент, а не до того.
- В-третьих, нам нужно точно определить, какое значение имеют революции или успешные социальные движения. Недостаточно назвать завоеванные уступки или перечислить тех, кто был свергнут, лишен имущества, изгнан или убит в ходе революции. Скорее, нам нужно сравнить до- и постреволюционные государства или социальные системы или дать точное описание того, как завоеванные социальным движением уступки изменили политическую жизнь или социальные отношения.

Разберем теперь труды исторических социологов и историков, которые уже добились успеха в осуществлении каждого из этих шагов. Обычно редко бывает, что в каком-то отдельном исследовании удастся выполнить все три задачи, хотя в наиболее удачных исследованиях первые два шага тесно связаны, а следовательно, мы будем обсуждать их совокупно, потому что как

только ученый выявляет сам момент революции, это в свою очередь сразу фокусирует его на поиске причин. Некоторые авторы, напротив, начинают с анализа причин, и это позволяет затем очертить временной диапазон революции, хотя, как мы еще увидим, начинающие со второго шага и проделывающие обратный путь к первому в конце получают более «сырой» и менее убедительный анализ. Какие-то прозрения идут от исследователей революций, а какие-то — от специалистов по социальным движениям; более того, эти два потока литературы настолько пересекаются, что будет лучше, если мы рассмотрим их как часть единой дисциплины о народной мобилизации и структурных изменениях.

Нет ничего удивительного в том, что многие из числа изучающих революции, особенно из числа специалистов по социальным движениям, занимаются этим потому, что сочувственно относятся к целям этих движений. Социальные движения, таким образом, подстегивают академическое изучение, а также могут создавать или переструктурировать академические дисциплины. Феминистское движение привело во многих странах к созданию факультетов и программ гендерных исследований или исследований женщин, сделав гендер неотъемлемой составляющей в курсах исторических и социологических факультетов. Большинство американских программ исследований чернокожих были созданы в 1960–1970-х годах — в разгар или по непосредственным итогам движений за гражданские права и «власть черных». В сегодняшнее время университеты многих стран имеют факультеты или программы гендерных исследований или исследований женщин, а в большинстве американских колледжей и университетов также имеются программы исследований чернокожих или афроамериканцев. Другие факультеты этнических исследований чаще всего находятся в американских университетах в городах или штатах, где существенную часть населения составляют группы, являющиеся предметом изучения. Например,

программы исследований латиноамериканцев сконцентрированы в штатах, где существенную часть населения составляют латиноамериканцы. По большей части эти программы создавались в моменты повышенной мобилизации; более того, зачастую они создавались в ответ на мобилизацию в кампусах, включавшую в число своих требований также и создание программ исследований женщин или этнических исследований.

Движения, требующие гендерных или расовых и этнических прав и признания, и созданные ими академические программы оказали влияние на более широкую область социологии, а также на другие академические дисциплины. Многие социологи рассматривают «расу, класс и гендер» в качестве ключевых, а зачастую и единственных значимых теоретических концептов и категорий своей работы, даже если их работа фактически организуется вокруг других концептов и теорий. И все же, даже если «раса, класс и гендер» — это по большому счету мольба о доброжелательности и включенности (социологический эквивалент Отца, Сына и Святого Духа), она знаменует чувствительность к группам и вопросам, прежде не признававшимся и не изучавшимся.

Факультеты и программы страноведения (area studies) имеют более сложную историю. В США большинство из них открылось (при финансировании федерального правительства) во время холодной войны, чтобы готовить дипломатов и агентов разведки, которые должны были представлять американские интересы по всему миру и вести исследовательскую работу, которая сделала бы американскую стратегию борьбы с повстанцами более эффективной, то есть чтобы помогать американским военнослужащим и ЦРУ выявлять и уничтожать повстанцев в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке (Wakin, 1998). Эти факультеты были интеллектуальными наследниками антропологии и программ по страноведческим или колониальным

исследованиям в европейских университетах, которые возникли вследствие желания понимать и легче управлять неевропейскими народами в составе своих империй (Steinmetz, 2012, 2007).

Волна антиколониальных движений, добившихся независимости для большинства стран третьего мира в первые десятилетия после окончания Второй мировой войны, бросила вызов тем способам осмысления и изучения незападного мира, которые были приняты в академических дисциплинах, включая социологию. Представление о том, что у западных ученых имелось предвзятое отношение, сформировавшее (или искажившее) их понимание и теории, стало неотъемлемой частью большого числа работ, выполненных на глобальном Юге и посвященных ему. Некоторые западные члены академического сообщества примкнули к своим коллегам из стран третьего мира, признав, что подобная культурная предвзятость и «слепые пятна» сказываются и на их работе, проводимой в отношении их собственных стран. За последние десятилетия программы по страноведению превратились в центры гуманитарной учености, гораздо более критически настроенной по отношению к западному империализму и оспаривающей западную интеллектуальную гегемонию (хотя некоторые уже нагрели руки на войне с терроризмом, ставшей золотым дном для тех, кто в очередной раз консультировал американских военных о том, как эффективнее вести борьбу с повстанцами). Сегодня страноведы поднимают острые вопросы о том, пригодны ли теории, разработанные для объяснения западных революций и социальных движений, для понимания политической жизни стран третьего мира. В данной главе я попытаюсь рассмотреть эти проблемы и показать, насколько объяснения революций или социальных движений в одной части света могут быть применимы для других стран.

РЕВОЛЮЦИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ  
И ВОПРОС СРОКОВ

Множество ученых предлагали самые разные определения революций<sup>1</sup>. Как напоминает нам Гудвин, «Понятия как таковые являются не более или менее истинными, но более или менее пригодными для генерирования фальсифицируемых объяснений заинтересовавших нас феноменов» (Goodwin, 2001, p. 8–9). Как бы то ни было, когда наступает время, чтобы привести примеры революций и точно указать их последствия, перечни и иерархии ученых оказываются примечательным образом схожи. Теда Скочпол, чья книга «Государства и социальные революции» (Skocpol, 1979) представляет собой наиболее влиятельный на сегодняшний день социологический анализ революций, наилучшим образом резюмирует ее, проводя различие между «социальными революциями», в которых сочетаются «совпадение структурных изменений общества с классовыми волнениями и совпадение политической трансформации с трансформацией социальной», «политическими революциями», которые «трансформируют государственные, но не социальные структуры и <...> необязательно совершаются в ходе классового конфликта», и восстаниями, в которых подчиненные классы бунтуют,

---

<sup>1</sup> Моей целью в этой главе не был всесторонний обзор исследований феномена революции или социальных движений. Скорее, я отобрал несколько образцовых исследовательских работ, чтобы показать, как исторические социологи могут конструировать определения, теории и наборы данных для ответа на ключевые вопросы, относящиеся к революциям и социальным движениям. Я не включил сюда две прекрасные книги: Wickham-Crowley, 1991; Foran, 2005. Первые главы в этих книгах содержат ценные общие обзоры литературы о революциях. Полезные общие обзоры обширнейшей литературы о революциях представлены в: Foran, 1997, chs. 1–2; Skocpol 1994, Conclusion.



но которые «даже в случае успеха <...> не приводят к структурным изменениям» (р. 4).

Все три из выделенных Скочпол категорий протекают в относительно непродолжительные промежутки времени — самое большее несколько лет. Напротив, социальные движения могут длиться многие годы и постепенно воздействовать на социальную структуру, особенно в культурной сфере. Тем не менее случается, что даже такие движения оказывают огромное воздействие в гораздо более сжатые периоды времени; как мы еще увидим, движущая сила социальных движений и способы их взаимодействия с носителями власти весьма разнятся в зависимости от того, приходятся ли они на моменты, когда их последствия могут быть наиболее весомы, или же на долгие беспросветные годы относительно бессобытийной мобилизации.

Посмотрим, как Скочпол (Skocpol, 1979) и Джеффри Гудвин (Goodwin, 2001) устанавливают сроки революций, а затем сравним это с тем, как Чарльз Тилли (Tilly, 1986, 1995) и Роберто Францози (Franzosi, 1995) концептуализируют начальную, срединную и конечную фазы социальных движений и забастовок. Эти четыре образцовые фигуры очень аккуратны и точны в установлении темпоральных границ тех феноменов, которые они хотят объяснить.

Скочпол видит в революции трехэтапный процесс. Во-первых, старый режим оказывается фатально ослабленным вследствие военного поражения, что дискредитирует правителей и заставляет их выглядеть уязвимыми, и бюджетного кризиса, что озлобляет как элиты, чьи доходы зависят от государства, так и массы, которые сталкиваются с депривацией, когда государство пытается обложить их налогами, чтобы пополнить казну. Скочпол обнаруживает, что эти события заняли нескольких лет: «1787–1789 годы во Франции <...> первая половина 1917 года в России и <...> 1911–1916 годы в Китае» (Skocpol, 1979, р. 47). Во-вторых, недовольные элиты

и массы способны прервать нормальное функционирование старого режима и безнаказанно оказывать неповиновение его официальным лицам. Это занимает даже еще менее продолжительный период времени, какие-то месяцы во Франции 1789 года и в России 1917 года и несколько лет, как в Китае, где в 1946–1949 годах прокатилась волна коммунистических выступлений против Гоминьдана (причем в каждой отдельно взятой китайской провинции они длились недолго и лишь до тех пор, пока коммунисты неизбежно не завладевали контролем). И наконец, старый режим рушится, его лидеров убивают или принудительно выслают из страны. Революция заканчивается, когда новому режиму успешно удается утвердить контроль над территорией, некогда подвластной старому режиму; во Франции и России это произошло после нескольких лет гражданской войны, в Китае же гораздо быстрее, поскольку гражданская война 1946–1949 годов (ею определялся второй этап китайской революции) закончилась неожиданным крахом старого режима и бегством его сторонников на Тайвань.

Беккер и Голдстоун собрали данные о «времени, которое проходит от краха или свержения старого режима до консолидации стабильного нового режима <...> когда он больше не сталкивается с внутренними вызовами со стороны элиты или народа, представляющими значительную угрозу для его существования» (Becker and Goldstone, 2005, p. 184, 190). Они установили, что сроки консолидации крупных революций составляли от года или даже менее (Иран в 1979 году) до четырех лет (Россия после 1917 года), двадцати девяти лет (Мексика после 1910 года), тридцати одного года (Вьетнам после 1945 года) и тридцати восьми лет (Китай после 1911 года) (Ibid., p. 190). Беккер и Голдстоун говорят о гораздо больших промежутках времени, чем Скочпол, отчасти из-за того, что начало некоторых революций датируется ими временем установления умеренного или коалиционного нового режима (как в Мексике в 1910 году,

в Китае в 1911 году или на Кубе в 1952 году), либо потому, что режим считается ими консолидированным лишь тогда, когда окончательно прекращаются атаки на его территорию со стороны иностранной державы (как во Вьетнаме и Никарагуа), и это несмотря на то, что революционные режимы в этих двух странах консолидировали свое правление и добились успехов на пути радикальных реформ именно тогда, когда они сталкивались с внешней угрозой.

Ценность статьи Беккер и Голдстоуна заключается в том, что в ней воедино сводится большое количество данных и определения и допущения развернуты и ясны, так что «те, кто не разделяет наш выбор, сами могут тогда модифицировать эту таблицу, как они считают правильным, и посмотреть, скажется ли это на наших результатах» (Becker and Goldstone, 2005, p. 190). В результате мы ясно видим, что иностранные державы, собственным ли вмешательством или финансируя и вооружая контрреволюционные армии, обычно по большей части состоящие из наемников (как это было в большинстве случаев, приводимых Беккер и Голдстоуном: Франция, Россия, Мексика, Китай, Вьетнам и Никарагуа, хотя и не Иран, самый прочный революционный режим в плане консолидации власти), могут отсрочить консолидацию революционного режима либо силой заставить его пойти на компромисс с оппонентами и создать правительство, которое проводит менее значимые реформы или не проводит вообще никаких. Согласно гораздо более пространному перечню крахов режимов у Беккер и Голдстоуна, включающему события, которые Скочпол определила бы как политические революции и восстания наряду с социальными революциями, временной диапазон охватывает сроки от менее года до сорока двух лет.

Беккер и Голдстоун сами мало что могут сказать об иностранном вмешательстве (они полагают, что иностранное вмешательство способствует консолидации

внутренней поддержки нового режима) и вместо этого сосредотачиваются на структуре старого режима и вопросе о том, в какой мере революционеры способны (1) нанести поражение старым элитам, (2) инкорпорировать в новое государство гражданских служащих и военных старого режима и (3) обратить в свою пользу уже существующий человеческий и культурный капитал. Относительный вес и каузальный эффект этих факторов невозможно описать в рамках одной статьи или нескольких страниц, как в этой книге. Однако, точно указав сроки революций и консолидации новых режимов, Беккер и Голдстоун сделали важный первый шаг, точно так же, как это сделала Скочпол, проведя различие между тремя этапами революции и показав длительность каждого этапа.

### Причины революций

В чем состоит то аналитическое подспорье, которое обретает Скочпол, сосредотачивая наше внимание на относительно непродолжительных периодах, когда происходит большинство революционных действий, и разделяя революцию на три этапа? Во-первых, и это самое важное, она получает возможность отделить длинные и обычно бессобытийные периоды массового обнищания и недовольства от гораздо более редких и менее продолжительных периодов событийного действия против правящих классов и режимов. Среди историков и исследователей общества существует давняя традиция, отголоски которой слышны во многих материалах современной журналистики и правительственной аналитики, связывать революции с массовым недовольством или отчаянием<sup>1</sup>. Проблемой этой теории (которая

<sup>1</sup> В число работ, содержащих классические формулировки данной точки зрения, входят: Brinton, 1965; Colburn, 1994;

настолько плохо проработана, что на самом деле представляет собой всего лишь некое допущение или голое утверждение) является то, что, несмотря на серьезное обнищание, восстания происходят очень редко, а революции — и того реже. Вопросом тогда становится уже не то, почему люди восстают, а то, почему в ряде случаев правящие режимы рушатся перед лицом восстания.

Лучше всего ответить на этот вопрос можно, если сосредоточиться на тех кратких периодах, когда действительно случаются революции, а затем спросить: «Что происходило до этого момента?».

Наиболее важный вклад, который внесли ученые, занимающиеся изучением революций начиная с 1970-х годов, заключается в том, что они сместили акцент с вопроса о том, что делает революционные движения сильными, на вопрос, что делает слабыми режимы. Как я отмечал выше, Скочпол утверждает, что революции происходят, когда государства ослабевают вследствие поражений в войнах с иностранными государствами и экономического спада, который вызывает бюджетный кризис внутри государства и сталкивает элиты друг с другом в борьбе за сохранение их доли в сжимающихся государственных доходах и экономике в целом. Впрочем, когда Скочпол прилагает модель, разработанную ею для объяснения трех великих социальных революций, к иранской революции, она обнаруживает существенные различия: «в революционном процессе между 1977 и началом 1979 года армия и полиция шаха <...> оказались неэффективными в ситуации, когда не было никакого военного поражения от иностранного государства и давления из-за рубежа, направленного на подрыв режима шаха или провоцирование противоречий и конфликтов между режимом и господствующими классами» (Skocpol, 1982, p. 267). Как бы то ни было, Скочпол сумела найти отчет-

---

Gurr 1970; Гапп, 2005; Davies, 1962.

ливую начальную точку в 1975–1977 годах, когда режим шаха был ослаблен спадом нефтяных цен. Нефть была господствующей отраслью иранской экономики и обеспечивала почти весь объем государственных доходов. Последовавший бюджетный кризис породил массовое недовольство. Вторая фаза началась в 1977 году, когда городские массы вышли на улицы, чтобы выступить против режима шаха. Сроки первой фазы можно установить, изучив экономическую статистику, а второй — просмотрев материалы о массовых демонстрациях. Третья фаза датируется тем моментом, когда шах бежал из страны и оставшиеся элементы старого режима не сумели учредить новое правительство, позволив новому режиму захватить и консолидировать власть.

Вывод Скочпол о том, что в Иране модернистское государство вполне могло быть ослаблено экономическими, а не военными силами, и это сделало возможной революцию, вступает в противоречие с ее же собственным заключением в «Государствах и социальных революциях»: «кажется почти невероятным, что модернистские государства могли дезинтегрироваться в качестве административно-принудительных организаций, не разрушив в то же самое время общество; современная социальная революция, вероятно, должна была бы постепенно, а не путем катастроф, происходить из целого ряда “нереформаторских реформ”» (Skocpol, 1979, p. 293). И хотя Скочпол не удалось предугадать ни иранскую, ни никарагуанскую революции 1979 года, ни революции в России и Восточной Европе десятилетие спустя, ее концептуальный прорыв, в равной мере сосредоточивший внимание как на революционерах, так и на государстве, и отделивший причины от следствий, позволил другим ученым проанализировать эти революции последнего времени. Кто-то, подобно Гудвину (Goodwin, 2001), опирается на ее государствоцентричный концептуальный каркас. Кто-то же выявляет иные или дополнительные причинные факторы.

Голдстоун (Goldstone, 1991) утверждает, что «развал государства» случается тогда, когда стремительно растущее население создает повышенную конкуренцию (особенно среди элит) за высокопрестижные рабочие места, провоцируя инфляцию и фискальный кризис государства. Быстрый рост иранского населения в 1960–1970-х годах подтверждает теорию Голдстоуна, которая не является несовместимой с аргументацией Скочпол, но будучи менее точной в плане способности выявлять те непродолжительные моменты времени, когда недовольство, вызванное демографическими, военными или экономическими причинами, порождает развал государства и революционное действие.

Чарльз Тилли (Tilly, 1993) стремится объяснить «революционные ситуации», определяемые им как появление серьезного претендента на государственную власть, который пользуется поддержкой одного из сегментов общества, в то время как действующий носитель власти не способен подавить соперника. «Революционный исход» наступает тогда, когда претендент забирает власть у старого правителя. Тилли стремится объяснить, когда и почему претенденты оказываются способны выступить против оппонентов и создавать революционные ситуации. Он утверждает, что претенденты возникают и завоевывают поддержку, когда действующий режим предъявляет своим подданным новые требования (чаще всего требования более высоких налогов), но при этом у правителя недостаточно сил для того, чтобы обеспечить их выполнение. Так Тилли выявляет закономерности в причинах революций на протяжении пяти столетий европейской истории.

Тилли приходит к выводу, что наиболее успешные государства способны требовать неуклонного повышения налогов, призывать подданных на военную службу и завоевывать лояльность своих граждан, не провоцируя революционных выступлений. Менее успешные государства не справляются с этими задачами и вынужде-

ны либо смириться с меньшими поступлениями в казну и малыми армиями (что делает их уязвимыми перед вторжением иностранных государств), либо выдвигать требования, провоцирующие революции. В некоторых случаях постреволюционные режимы лучше справляются со сбором налогов и призывом солдат (режимы, созданные всеми тремя описанными Скочпол социальными революциями, были гораздо мощнее тех, что были свергнуты ими).

Есть и другие времена, когда новый режим точно так же слаб, как и старый (или даже еще слабее), и поэтому становится мишенью для иностранного нападения или еще одной революции. Данное Тилли определение революции гораздо шире и включает в себя гораздо больше, чем определение Скочпол. Его модель наилучшим образом подходит как для выявления факторов, делающих определенные государства уязвимыми перед протестными выступлениями, так и для объяснения, почему эти факторы изменяются на протяжении столетий по мере увеличения потенциала государства и изменения характеристик тех локальных сообществ, к которым государства предъявляют свои требования и за чью поддержку конкурируют революционные движения. Модель Тилли не очень хорошо подходит для объяснения того, чем постреволюционные правительства отличаются от тех режимов, которые были ими свергнуты; это проблема, решать которую гораздо лучше с помощью модели Скочпол, что мы и увидим в последнем разделе этой главы.

### ПОЧЕМУ ПОВЕЖДАЮТ И ПОЧЕМУ ПРОИГРЫВАЮТ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ?

Скочпол и Тилли, сосредотачивая свое внимание на государстве, ясно дают понять, что изучения мотивов или способностей революционеров недостаточно. У революций, как и у войн и социальных движений, есть



по меньшей мере две стороны. Если действующие носители власти сильны и единодушны, им невозможно нанести поражение. Это неприятно сознавать, однако, к сожалению, это правда. Скочпол показывает это, сравнивая три социальные революции. Тилли, чья модель также вполне подходит для понимания этого, выявляет те черты, благодаря которым государства становятся неуязвимыми для революции в конкретные эпохи. Гудвин (Goodwin, 2001) показывает это, проанализировав многочисленные революционные движения в Центральной Америке, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе в 1945–1991 годах.

Гудвин решает несколько иную проблему, нежели Скочпол. Вместо того чтобы просто сосредоточиться на удачных социальных революциях, Гудвин сравнивает удачные и неудачные революции и выстраивает причинное объяснение их разнящихся итогов. Также он объясняет, почему революционные движения в Сальвадоре, Гватемале и Перу могли десятилетиями вести повстанческую деятельность, несмотря на жесткие репрессивные меры со стороны государства. Таким образом, Гудвин помимо сравнения революционных движений, взявших верх или разгромленных в относительно короткие промежутки времени, сравнивает движения, которые незамедлительно были сокрушены, и те, которые держались десятилетиями, прежде чем окончательно терпели поражение или в конце концов соглашались на переговоры, в результате которых власть и привилегии действующих режимов и правящих классов оставались по большей части нетронутыми.

Подобно Скочпол, Гудвин считает, что мишенью революций являются государства, и, следовательно, их судьбы по большей части определяются внутренней структурой этих государств, их потенциалом и связью с элитами. В отличие от Скочпол, Гудвин выявляет иные факторы, ослабляющие государства и создающие открытые возможности для оппозиционной деятельно-

сти. Он указывает на сбои, связанные с японской оккупацией и Второй мировой войной в Юго-Восточной Азии, на ключевую роль США в качестве спонсора как высокоциклических агроэкспортных отраслей, так и репрессивных военных режимов в Центральной Америке, и на реформы Горбачева и неожиданный отзыв поддержки Советским Союзом коммунистических режимов в Восточной Европе.

Гудвин, таким образом, раздвигает рамки анализа по сравнению с моделью Скочпол и выявляет дополнительные факторы, которые определяют, происходят ли революции вообще, а также когда и где они происходят. И самое важное: поскольку в центре его внимания находятся так и невозникшие, провалившиеся и зашедшие в тупик революционные движения, он выявляет множественные контингентные пути и выделяет те аспекты организации и потенциала государств и организации и классовой структуры элит, которые повышают или ограничивают согласованность и эффективность движения.

Модель Гудвина во многом отличается от модели Скочпол, поскольку он изучает другие разновидности обществ. Во всех рассматриваемых им случаях важную роль играют внешние силы, которые подрывают режимы, даже несмотря на отсутствие военных поражений, имевших центральное значение в трех социальных революциях, анализируемых Скочпол. Поскольку все государства, которыми занимается Гудвин, зависели от великих держав, их внутренняя динамика отличалась от той, что имела место при старых режимах во Франции, России и Китае. Впрочем, в разбираемых Гудвином случаях внешние геополитические и экономические силы играют важную роль благодаря влиянию, оказываемому ими на государства и элиты, которые жили и боролись за положение внутри этих государств. Изменения, касающиеся формы и потенциала государства и структур элит, стали в свою очередь решающими при создании

благоприятных перспектив для революционных движений (либо для их поражения).

Застой, отсутствие новых мер внешнего давления или внутреннего изменения создали в одних странах долговременные репрессивные режимы, а в других фатальное объединение «вооруженных сил инфраструктурно слабых государств, применявших неизбирательное насилие» (Goodwin, 2001, p. 217), что позволило революционным движениям и дальше на протяжении десятилетий рекрутировать последователей, готовых сотнями тысяч идти на смерть. Сила предложенной Гудвином модели проистекает не только из того, что он вслед за Скочпол уделяет большое внимание государству; она также обусловлена той тщательностью, с которой он выявляет моменты, когда создавались открытые структурные возможности для того, чтобы революционные движения могли предпринимать эффективные действия, в редких случаях достигавшие победного конца и чаще приводившие к поражению, а в других случаях способствовавшие развязыванию продолжительных гражданских войн, в которых в конечном счете побеждали репрессивные государства.

Подобным же образом Джефффри Пейдж (Paige, 1975) обнаруживает, что по всему третьему миру в 1948–1970 годах (годы, по которым он собрал данные) крестьяне были озлоблены и выступали против тех, кто над ними господствовал. В большинстве стран, недавно получивших независимость, крестьяне и сельскохозяйственные работники не добились успеха в смене эксплуататорских механизмов землепользования и вынуждены были довольствоваться тем, что Пейдж называет «движениями за аграрную реформу в сфере сбыта продукции» (*agrarian reform commodity movements*) или «движениями за аграрную реформу в сфере труда» (*agrarian reform labor movements*). В ряде случаев крестьянам удавалось устроить «аграрные бунты <...> кратковременное

интенсивное движение, нацеленное на захват земли, но не имеющее долгосрочных политических устремлений», но потом, даже в случае успеха, крестьяне «снова впадали в политическую апатию» (Paige, 1975, p. 43). Аграрные революции, которые могут быть либо социалистическими, либо националистическими, встречаются чрезвычайно редко. Притом что пейджевское определение революции несколько отличается от определения Скочпол или Гудвина, фундаментальную причину революций он тоже видит в развале правящего режима (в его случае ключевыми правителями выступают региональные аграрные правящие классы, которые необязательно являются государственной элитой или общенациональным правящим классом).

Сравнив экспортные сектора сельского хозяйства, Пейдж приходит к выводу, что аграрная революция становится возможной при распаде только определенных, специфических классовых и государственных структур. Также, подобно Скочпол и Гудвину, Пейдж сознает явную связь между уязвимыми сторонами старого режима, той разновидностью бунта или революции, которая развивается из этих слабых мест, и тем новым режимом, который создается этим бунтом или революцией. В отличие от Скочпол и Гудвина, Пейдж меньше интересуется геополитической динамикой, которая, возможно, могла бы ослабить государства или аграрные правящие классы. Он прямо связывает аграрную классовую систему с революцией, хотя и допускает, что в сельскохозяйственном регионе классовые отношения могут быть нарушены или трансформированы внешними политическими событиями на государственном уровне, происходившими вблизи объектов горнодобывающих или промышленных отраслей, или идеологически (а зачастую религиозно) мотивированными социальными движениями. Сосредоточение Пейджа на аграрных экспортных отраслях позволяет ему (1) объяснить, почему большинство революций и восстаний, случившихся

после 1945 года, начались именно в этих отраслях стран третьего мира, (2) обнаружить структурные факторы, отвечающие за революционную силу крестьянства в ряде стран, и (3) объяснить, почему жертвами революции становятся только некоторые правящие классы, а не большинство<sup>1</sup>.

Крестьяне и прочие протестующие не дураки и не самоубийцы. Они не присоединяются к схватке, в которой, как они знают, им не победить. Революции начинаются, когда государства проявляют слабость и когда правящие элиты разделены. Бывает, что революционеры ошибаются в расчетах. Чаще всего это происходит, когда на локальном уровне элиты выглядят слабыми, и протестующие, которым не хватает доступа к информации об остальной стране, ошибочно принимают местную специфику за общенациональное состояние дел. Хун (Hung, 2011) обнаруживает, что такое происходило снова и снова, когда китайские крестьяне в XVIII — начале XIX века нападали на землевладельцев или сборщиков налогов, после чего их сокрушали, так как провинциальные элиты или национальное правительство поддерживали свою способность мобилизовать вооруженные силы на борьбу с локализованными восстаниями. Впрочем, когда в начале XX века китайское государство ослабело, а элиты разделились, крестьяне смогли свергнуть режим. Благодаря тщательно проделанному анализу динамики крестьянских протестов и бунтов Хуну удается показать, что факторы, отвечающие за наличие первого, не предсказывают обязательного появления последнего. Проводя различие между протестами

---

<sup>1</sup> Пейдж (Paige, 1997) расширяет свой анализ с целью объяснить то, как в Центральной Америке классовые отношения в отраслях аграрного экспорта взаимодействовали с национальной политикой, породив тем самым расхождение в результатах: революцию в Никарагуа, устойчивое, хотя и неудачное революционное движение в Сальвадоре и социальную демократию в Коста-Рике.

и революцией, он получает возможность выявления тех нечасто складывающихся условий, при которых происходила эскалация протестов и при которых они амальгамировались в бунты, кульминацией которых стало Тайпинское восстание и две революции XX века, притом что результатом других протестов были в основном государственные репрессии, спорадически сочетавшиеся с малозначительными уступками.

Английские крестьяне XVI–XVII веков в ходе своих оппортунистических восстаний в целом действовали более метко, избирая мишенями графства с разделенными элитами и восставая в моменты, когда у местных элит был конфликт с короной. Когда крестьяне, ориентируясь на устаревшие новости о местных размежеваниях или распрях с королем, выступали, упустив верный момент для действия, их восстания легко подавлялись властями графства или при помощи королевских войск (Lachmann, 2000, р. 180–185; Лахман, 2010, с. 330–339; Charlesworth, 1983).

Мы поймем важность государства и необходимость измерения степени единства элит и точной оценки движущей силы, стоящей за их отношениями, если сосредоточим внимание на недостатках одного из шедевров исторической науки «Великого страха 1789 года» Жоржа Лефевра (Lefebvre, [1932] 1973). «Великий страх» был переломным событием Великой французской революции. По Франции расходились волны слухов (главным образом, о том, что знать устраивает заговор против короля). Когда эти слухи доходили до какого-либо города или деревни, крестьяне откликались на них, нападая на местную знать и чиновников, а порой и устраивая резню. Это фатально ослабило королевское государство и привело к бегству из страны многих представителей знати. Лефевр прослеживает — наверное, лучше любого другого историка — то, что действительно происходит на втором этапе революции, когда правителям безнаказанно бросают вызов и они подвергаются нападениям и когда старый режим рушится.

К сожалению, Лефевр отрывочен в своем объяснении, почему крестьяне верили слухам о заговоре против короля и действовали на основании этих слухов. Сначала он упоминает голод и безработицу и высказывает мнение, что они ужесточились в 1781–1789 годах. Затем, спустя несколько глав, он обсуждает созыв Генеральных штатов и то, как выборы делегатов и призыв короля к общинам, чтобы те составили наказы (*cahiers de doléance*), привели к тому, что крестьяне решили, что истинным их противником является знать, а не король. Впрочем, Лефевр так и не соотнес друг с другом обсуждавшиеся им экономические и политические факторы, а также не построил на их основе причинно-следственную аргументацию. Его повествование сопоставимо с тезисом Скочпол, что революции следуют за развалом государства и что развал государства предполагает расколы среди элит; еще у него имеется имплицитный аргумент в духе Голдстоуна, что масло в огонь крестьянского гнева подливало перенаселение. Впрочем, в отличие от Скочпол или Голдстоуна, Лефевр никогда не поясняет, как элементы его рассказа увязываются друг с другом в один причинный аргумент. Причинная (в отличие повествовательной) связность его книги проистекает из нашего прочтения ее в свете того, что нам известно о других революциях, и нашей способности ретроспективно вчитывать более современные теории в ту историю (*story*), которую рассказывает Лефевр.

Самой большой проблемой Лефевра (и других эмпирически богатых, но теоретически скудных нарративов) является то, что революционеры выглядят там попросту разгневанными, а гнев — неважно, насколько неотразимо переданный, — не может объяснить, какая именно разновидность нового режима была создана революционерами. Более того, чем глубже историки погружаются в умы рядовых революционеров, тем менее схожими выглядят их жалобы и желания и тем труднее становится понять, почему власть получали одни, а не другие рево-

люционеры и почему новые режимы отвечали одним, а не другим народным требованиям. Лучшее понимание того, как обстоят дела обездоленных крестьян или городских рабочих, не поможет нам с объяснением того, где и когда случаются революции, точно так же большее знание о том, как мыслят угнетенные, не объяснит истоки революций, хотя, как мы увидим в последней части этой главы, подобный культурный анализ является основополагающим для понимания того, какая разновидность режима появляется в конце революции.

Что такое социальные движения  
и когда они случаются?

Социальные движения существуют гораздо дольше и встречаются гораздо чаще, чем революции. Нередко бывает, что протестуют группы с разнообразным составом, а также дезорганизованные массы. Временами протестующие приводят многообразные и противоречивые основания для выхода на демонстрации или для актов насилия. Не без помощи историков мы зачастую приписываем слаженность поступкам акторов со спутанными намерениями и согласованность противоречивым событиям. Протесты ретроспективно наделяются именами и четкими намерениями, посредством высказываний или сочинений их лидеров или с учетом того, чего им в конце концов удалось достичь. Движение за гражданские права в США понимается ретроспективно, и ретроспективно же — с привлечением языка его лидеров (прежде всего Мартина Лютера Кинга) и с учетом юридических и законодательных побед, связанных с получением права голоса и отменой расовой сегрегации, — придается слаженность многим его разнородным и зачастую противоречивым акторам и несоизмеримым событиям. Историки и исследователи общества, занимавшиеся изучением этого социального движения, уделяют куда



меньше внимания экономической повестке афроамериканцев, которая по большому счету осталась невыполненной. Точно так же антиколониальные движения ставили перед собой множество различных задач, но в большинстве случаев их главной победой считалось окончание иностранного владычества, тогда как остальные требования, предъявлявшиеся этими движениями, или тот факт, что некоторые движения требовали не независимости, а прав гражданства в рамках империй, оставались в исторических исследованиях без должного внимания. В результате ответы на ключевые вопросы о том, почему социальные движения добиваются удовлетворения одной, а не другой части своих требований, и о том, кто именно решает, какие требования должны быть удовлетворены, редко приходят от исследователей социальных движений. Далее мы увидим, как можно ответить на эти вопросы, разобрав несколько образцовых научных работ, которые отводят им приоритетное место.

Чарльз Тилли изучал протесты, которые имели место на протяжении нескольких столетий. Он начал со сбора данных о протестах и выделения периодов масштабных протестов, нередко длившихся десятилетиями или столетиями. Его следующим шагом стало выделение различных типов протестов. Он задавался вопросом о том, кто протестовал: были ли это крестьяне, налогоплательщики или городские рабочие? Также он уточнял, что стало поводом для протестов: протестовали ли арендаторы против высокой арендной платы, требуемой землевладельцами, или же протестующие были налогоплательщиками, разгневанными высокими налогами? Как только Тилли смог собрать и организовать данные по многочисленным протестам, он смог установить ключевые переходы. Его важнейшим открытием, получившим документальное подтверждение и для Великобритании (Tilly, 1995), и для Франции (Tilly, 1986), стало то, что постепенно протесты переключились с недовольства высо-

кой арендной платой и землевладельцами на высокие налоги и чиновников.

Модель Тилли базируется на идее, что протесты и социальные движения — это ответ на требования и аппетиты власть имущих, а не выражение обобщенного недовольства притесненных. Изменяются характер, идентичность и требования власть имущих, соответственно, изменяются протесты и протестующие. Труд Тилли — это огромный шаг вперед по сравнению с «теорией относительной депривации»<sup>1</sup>, которая, подобно теории, связывающей революции с обнищанием населения, предполагает, что при ухудшении условий люди будут протестовать. Проблема теории относительной депривации состоит в том, что ей недостает исторического базиса.

В действительной жизни те, кто больше всего обделены, зачастую ведут себя тихо. Если мы хотим объяснить, почему на переднем крае протеста оказались относительно привилегированные группы — например, китайские студенты в 1989 году или американские, мексиканские и западноевропейские студенты в 1960-х годах, — нам нужно смотреть не на изменения условий их жизни или то, как они воспринимают эти условия, а на то, как действия государства видоизменяют всеобщую структуру власти в обществе. Так, Чжао (Zhao, 2001) обнаруживает, что простор для мобилизации массового студенческого движения в Китае (пожалуй, самого крупного движения такого рода в мировой истории) возник в результате государственных реформ. Реформы, происходившие до 1989 года, не привели к политической либерализации (что ясно показала бойня, которой закончился захват студентами площади Тяньаньмэнь). Вместо этого государственные реформы ненамеренно повысили градус конкуренции среди

<sup>1</sup> Как и в случае с революциями, я не предлагаю здесь общий обзор теории социальных движений. Подробнее об основных теоретических традициях и дебатах по поводу социальных движений см.: Snow et al., 2004.

студенческих групп и обострили размежевание между протестующими и государством, провоцируя протесты. Но все же Чжао приходит к выводу, что, несмотря на сокрушительное поражение студенческого движения, оно все же вызвало борьбу среди элит, которая привела к перераспределению власти внутри государства. Протесты (в Китае в 1980-х годах или в США, Европе или Мексике в 1960-х годах) могут иметь большое значение, даже если последствия оказываются совсем не теми, которых требовали протестующие, или даже теми, достижения которых добивались их противники.

Идентичность протестующих, а следовательно, и то, как они представляют себе своих союзников и противников, создается исторически, в чередующихся контингентных взаимодействиях между народными группами и элитами. Вот почему труд Тилли так важен: он показывает, как трансформировались требования к неэлитам и идентичность неэлит, когда государственные элиты обретали власть над землевладельцами. Эта трансформация изменяла представления протестующих о самих себе, своих интересах и врагах. Если мы будем смотреть только на то, как революционеры или протестующие мыслят и действуют, если нашей целью будет как можно более подробное воскрешение биографий протестующих, мы можем не заметить того, каким образом диалог между протестующими/революционерами и носителями власти (совершающийся зачастую не на словах, а в насильственных действиях) трансформирует обе стороны.

Наша окончательная цель состоит в том, чтобы объяснить роль протестов или революций и сделать необходимые подготовительные шаги для построения теорий о том, как происходят структурные изменения. Мысли и действия протестующих обязательно участвуют в этом процессе и составляют один из (зачастую основных) элементов теории, но их нельзя изучать в отрыве от всего остального. Очень хорошо это выразил Абрамс:

Реальная опасность попыток воскресить мысли и ход жизни протестующих (*resurrectionism*) состоит не в том, что они породят среди историков и социологов голый импрессионизм и вызовут массовое бегство от теории; опасность состоит в том, что они будут поощрять — у самих себя или других — веру в то, что теоретический труд, необходимый для познания прошлого, может быть адекватно проделан в самом акте репрезентации фактов, веру в то, что сами по себе факты (или факты приватной жизни) достаточны для создания теоретически значимой модели действительности капитализма или феодализма, расширенной семьи или крестьянского общества (Abrams, 1982, p. 332).

Посмотрим теперь, как в двух образцовых трудах по исторической социологии конструируются причинные модели, позволяющие объяснить как сам процесс народной мобилизации, так и влияние, оказываемое этой мобилизацией на социальную структуру.

Роберто Францози (Franzosi, 1995) разбирает одну из наиболее значимых форм социальных движений в XX веке — профсоюзы. Его цель — объяснить, почему после Второй мировой войны в Италии на протяжении десятилетий забастовки случались именно там, где они случались, и именно тогда, когда они случались. У Францози количественный анализ сочетается с качественным. Сначала он собрал массив данных, включающий базовые сведения по каждой забастовке: дату, продолжительность, место, профсоюз, работодателя и итог (то есть получили ли рабочие увеличение зарплаты и пособий или улучшение условий труда). Также он использовал газетные отчеты о трудовых спорах, чтобы проследить динамику каждого: чем он был вызван, какой тактикой пользовались рабочие и работодатели и как изменялась эта тактика в ходе забастовки по мере

того, как каждая сторона реагировала на тактику оппонента.

Что же способен объяснить Францози, используя свои данные и анализ? Во-первых, он показывает, как рабочие и их профсоюзы реагируют на появление новых возможностей в национальной политике, порожденных размежеваниями среди работодателей или между капиталистами и государственными чиновниками; также он показывает, что сроки многих забастовок выбраны так, чтобы повлиять на переговоры по поводу национальных трудовых договоров. Он обнаруживает, что профсоюзная тактика и динамика забастовок разнятся в зависимости от цели и степени сплоченности боссов и государства. Наконец, — и это самое важное, — Францози показывает, что динамика, которой следуют волны массовых забастовок (прежде всего «горячая осень» 1969 года), весьма отлична от динамики основного числа забастовок, обособленных и вовлекающих меньшее количество рабочих. Вот почему модели, в которых используются совокупные данные по всем забастовкам, дают недостоверные результаты, ведь в них проигнорирована разница причинных путей «нормальных» забастовок и забастовочных волн.

Отчасти волны продуцируются подражанием и общим воодушевлением, так как группы протестующих усваивают то, что видят друг у друга. Кроме того, волны отражают большее число открытых структурных возможностей, равно как и лавинообразное проявление симптомов слабости у правящих групп. Когда правителям не удается справиться с забастовкой, беспорядками или протестом, тогда они, не желая показаться слабыми, демонстрируют избыточную реакцию на дальнейшие случаи народной мобилизации, прибегая к методам, которые усиливают массовое негодование и решимость действовать и могут вносить расколы в ряды элит, что в свою очередь и дальше поддерживает убежденность протестующих в том, что это подходящий

момент для эффективного действия. Пивен и Кловард (Piven and Cloward, 1971) утверждают, что волны беспорядков и демонстраций в США на протяжении 1930-х и 1960-х годах привели к учреждению или расширению социальных программ для бедных (подробнее об этом мы будем говорить в пятой главе). Маркофф (Markoff, 1996а) обнаруживает, что демократизация (которую он определяет как предоставление избирательных прав всему населению или какой-то его части) происходила волнами, по большей части оттого, что в конце двух мировых войн и в периоды мобилизации рабочего класса правители стремились упредить появление более радикальных требований.

Осознать наличие таких волн, а затем найти как их причины, так и их следствия мы сможем, только проведя масштабный сравнительно-исторический анализ или же, как делают Францози или Пивен и Кловард, проследив процессы в отдельно взятой стране на протяжении длительного отрезка времени. Содержательные разборы отдельно взятого случая забастовки, протеста или реформы не способны установить, является ли этот единственный случай частью волны или нет, а следовательно, не могут дифференцировать специфическую динамику волн от динамики обособленных протестов.

Францози, Маркофф и Пивен и Кловард по-разному используют исторические свидетельства и конструируют свои аргументы касательно волн. Францози выстраивает свой анализ забастовочных волн на фундаменте подробных, микроуровневых фактических свидетельств. Он показывает, что волны итальянских забастовок действуют особым образом, отражающим структуру профсоюзов и фирм в Италии и те способы, посредством которых итальянское государство регулирует забастовки и вмешивается в их ход. Это позволяет ему показать, что эта волна сама видоизменяет данные структуры, и тем самым точно определить все, на что она оказывает влияние: не только на то, какие требования выдвигаются

рабочими и чего им удастся добиться, но и на структуру отношений работодателя и рабочих и организацию профсоюзов и государства, что в совокупности задает контекст будущих классовых отношений. Таким образом, в конце забастовочной волны не просто улучшается материальное положение рабочих, но повышается или снижается их способность в последующие годы участвовать в забастовках и забастовочных волнах.

Несмотря на то что в исследовании Францози рассматривается всего одна страна, он предлагает методологический и теоретический базис для межстрановых сравнений. Например, в США забастовочные волны случались в очень разных структурных контекстах, и их последствия имели заметные отличия: волна сидячих забастовок в 1936–1937 годах принесла американским рабочим значительные победы, как с точки зрения улучшения условий труда, так и в политической сфере, причем на уровне всей страны, тогда как забастовочная волна 1946 году позволила добиться улучшений внутри фирм, но на общенациональном уровне она обернулась серьезным политическим поражением. Модель Францози можно было бы использовать для объяснения различий между Италией и США совсем другой эпохи. Это обеспечило бы более динамичное понимание политической жизни США, чем позволяет сделать подход Пивен и Кловарда. В протестных волнах они видят почти автоматическую реакцию на бедность, оказывающую примерно одно и то же влияние на практически неизменную политическую структуру США и приведшую в 1930-х и 1960-х годах к схожим результатам. Маркофф, напротив же, восприимчив по отношению к изменениям, происходившим в капитализме и мировой геополитике в XIX–XX веках. В результате, ему удастся установить те причинные комплексы, которые, при всех своих различиях, порождали в разные эпохи в отдельных регионах мира волны требований предоставления права голоса.

В том, что касается выявления различий в социальных движениях в разные времена и в разных местах, Францози и Маркофф оказываются гораздо точнее Пивен и Кловарда. Не все забастовки или протесты одинаковы. Волны могут иметь схожие структурные характеристики, и в то же время их причины и следствия будут сильно различаться. Из этого следует, что для возникновения протестов, не говоря уже о волнах протестов, недостаточно жалоб на горестное положение. Требования тоже не переходят напрямую в уступки. Нельзя понять, чего могут достичь социальные движения или революции, если смотреть только на требования протестующих или даже на степень их сплоченности и накала борьбы. Например, Макадам (McAdam, 1990) предлагает увлекательное описание и объяснение готовности рисковать своими жизнями у сторонников гражданских прав во время «лета свободы» 1964 года в Миссисипи. Когда дело доходит до обсуждения последствий «лета свободы», Макадам размышляет над тем, каким источником вдохновения впоследствии стало оно для демонстрантов и деятелей контркультуры, но он не пытается найти связь между этим социальным движением и законотворческой или политической деятельностью за пределами этого движения. Даже если бы он и захотел сделать это, те свидетельства и аргументы, которые он излагает в своей книге, не сильно помогли бы ему с решением этой более широкой задачи. В результате, хотя Макадам знакомит нас с состоянием умов, действиями и организационными сетями протестующих, это не помогает нам понять, почему какие-то требования этого движения были выполнены, а какие-то нет.

Подход к изучению активистов социального движения, избранный Роджером Гулдом (Gould, 1995), весьма отличается от подхода Макадама. Гулд пытается разрешить одну загадку: «большинство участников восстаний [и в 1848 году, и в 1871 году] были рабочими» (р. 4), но «начались эти две парижские революции по-разному,



закончились по-разному и понимались их протагонистами как совершенно разные виды борьбы — или, выражая ту же мысль иначе, они были борьбой между протагонистами, по-разному понимавшими самих себя» (р. 7). Другими словами, Гулда интересует не просто объяснение степени их приверженности революции; он также хочет объяснить и то, как со временем трансформировались цели, альянсы (и их сети) и завоевания протестующих.

Гулд вскрывает сложные и запутанные отношения между сетованиями на горестное положение, самоидентичностью и действием, «некий многомерный мир, где перекрещиваются намеченные цели и отступления от этих целей». В отличие от Макадама, он обнаруживает, что для того, чтобы понять, как парижские радикалы видели себя и своих противников и формулировали свои требования, необходимо выйти за рамки рассмотрения жалоб, солидарности и степени готовности протестующих продолжать борьбу и изучить также структурные изменения в государстве и экономике и в пространственной организации Парижа. Подобно Францози, анализирующему волны забастовок, Гулд приходит к выводу, что «крупные восстания» 1848 и 1871 годов имели иную динамику по сравнению с годами нереволюционной «коллективной борьбы, связанной с заработной платой, рабочим временем и регулированием режима работы в цехах» (Gould, 1995, p. 199).

Подход Гулда наиболее ценен именно своей историчностью — тем, что, ставя вопросы и пытаясь найти ответы, он рассматривает, как со временем изменялась социальная структура, а следовательно, позиции и понимание антагонистов. Социальные движения выдвигают требования, направленные против оппонентов, которые сами встроены в глобальную, национальную и локальную социальные структуры. Методы, которые позволяют нам понимать причины и последствия, основываются на ясном осознании, что протесты канализи-

ругуются в рамках данной социальной структуры и что возможности, открываемые социальными движениями и революциями, варьируются в зависимости от того, как изменяется сама структура. Объяснительная сила модели Пивен и Кловарда и этнографии Макадама ограничена именно недостаточностью их внимания к изменению во времени. Попытки и стремление отследить контингентные изменения и определить место социальных движений в контингентных цепях составляют исследовательскую программу Тилли, Францози и Гулда и позволяют им показать, когда и как участники социального движения оказываются способны на эффективное действие.

### КАК РЕВОЛЮЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ИЗМЕНЯЮТ ИСТОРИЮ?

Ответ на этот вопрос я частично дал в предыдущем разделе, когда мы обсуждали, как забастовочные волны, массовые протесты и волны демократизации видоизменяли социальную структуру. Скочпол делает важный концептуальный шаг вперед, когда отделяет свой анализ причин революции от ее итогов. Исходя из приведенного выше рассмотрения, как Скочпол объясняет истоки революций, можно сделать вывод, что последствия революций она воспринимает по большей части с точки зрения того, как революционерам удалось увеличить мощь захваченных ими государств. Решающим для нее (и для любого успешного анализа) является изучение революции как кратковременного периода с повышенным градусом контингентности, когда акторы без промедления способны трансформировать социальные структуры. Наша работа (как сравнительных исторических социологов) заключается в том, чтобы проследить эти контингентные цепочки и провести сравнения с другими революциями, забастовочными волнами или социальными

движениями. Именно так мы сможем довести наши объяснения до необходимой точности и построить теории, которые можно будет применять не только для разбора единичных случаев.

Посмотрим, как мы сможем проследить и объяснить революционную контингентность и таким образом объяснить последствия революции, сосредоточив внимание на книге, которую можно назвать лучшим социологическим анализом революции, — «Отмена феодализма» Джона Маркоффа (Markoff, 1996).

«Отмена феодализма» — это огромный шаг вперед по сравнению с прежними трудами о революциях вообще и о Великой французской революции в частности. Приступая к исследованию самой изученной революции (и, вероятно, самого изученного исторического события) в человеческой истории, Маркофф обогащает наше понимание произошедшего. Его конечный результат был получен благодаря десятилетиям усилий, которые он посвятил созданию двух массивов данных. Первый из них точно определяет участников, объекты удара, цели и итоги каждого этапа сельского мятежа во время революции (по охвату и подробностям здесь есть сходство с массивом данных, собранным Францози по итальянским забастовкам). Второй массив данных, относящийся к каждой жалобе из наказов, позволяет Маркоффу податься к установкам и культурным стереотипам представителей дворянства, духовенства и третьего сословия (используя дополнительные данные, он разбивает их дальше согласно региональным и классовым различиям) в каждой местности Франции 1789 года.

Маркофф использует первый массив данных, чтобы проследить движущую силу революционного действия, представляя гораздо более объемлющую версию того, что было достигнуто Лефевром в отношении Великого страха. Второй массив данных позволяет ему показать, как участники революции осмысливали свои требова-

ния и действия и как они понимали и реагировали на своих противников. В совокупности с первым пунктом анализ Маркоффым того, как действовали и как воспринимали события и свою изменяющуюся ситуацию их участники, создает практически кинематографическое описание социальной трансформации. Результатом этого становятся три важных соображения.

Во-первых, народные социальные движения и революции, возможно, и опираются на обнищание и горестное положение масс, но метят они в мишени, выбор которых революционерами основан на тщательном изучении размежеваний и слабостей внутри правящих сил. Маркофф спрашивает, почему во время революции первоочередными объектами нападений крестьян стали сеньоры и почему величайшим свершением революции была законодательная отмена феодализма. Его ответ состоит в том, что конфликты дворян между собой и с буржуа из третьего сословия дали крестьянам понять, что протесты против феодальных сеньоров, возможно, и принесли бы плоды. Те собрания, на которых составлялись наказания, дали крестьянам беспрецедентную возможность непосредственно услышать разногласия среди духовенства, дворянства и буржуазии, а также внутри эти сословий, разногласия, которые сильнее всего обострились по вопросу сеньориальных привилегий.

После этого едва ли покажется удивительным, что доля мятежей, мишенью которых был сеньориальный режим, тотчас же удвоилась весной [1789 года]. Деревенские жители поняли, что, стоило им подналечь, и появилась бы по меньшей мере какая-то поддержка от значительных частей третьего сословия и весомой части духовенства; вероятно, они были осведомлены о том, что знать, будучи разделенной, утратила способность эффективно защищать саму себя (Markoff, 1996b, p. 495).

Исследовательская работа Маркоффа подтверждает и углубляет теоретическое заявление Скочпол, что революции набирают ход и достигают успеха в зависимости от того, насколько революционерам удастся вскрывать и эксплуатировать слабые стороны тех, кто занимает господствующее положение в старой политической или экономической структуре. Успешные революционеры обладают навыком считывать и отвечать на размежевания и слабости элит в краткосрочной перспективе.

Во-вторых, восставшие и защитники старых режимов каждый со своей стороны могут увидеть в непривычных локальных условиях возникновение широких перспектив и из-за этого ошибочно истолковать социальную структуру (мы видели это выше в нашем обсуждении протестов и крестьянских восстаний). Впрочем, в случае полноценной революции эти истолкования, нередко ошибочные, определяют не только то, кто победит и кто проиграет, но и реальное содержание тех изменений, которых добиваются революционеры. Члены Национального собрания были неправы, полагая, что отмена феодальных привилегий успокоит массы, однако это ошибочное истолкование народных мнений определило итоговое наследие революции.

В-третьих, цели и свершения революции могут меняться по мере развития событий. Изучение Маркоффом наказов показывает, что цели третьего сословия варьировались как внутри одних и тех же местностей, так и от местности к местности. Революционерами часто высказывались многочисленные жалобы на ущемленное положение и пожелания изменений. Решения о том, какие требования надо продавливать, а какие откладывать в сторону, менялись по мере того, как революционеры пытались привлечь союзников и испытывали своих противников на прочность. Революционные программы могут писаться интеллектуалами или лидерами загодя, но в революционном процессе они видоизменяются и получают лишь частичное

воплощение. Маркофф инвертирует концептуальную структуру таких трудов, как, например, «Государства и социальные революции» Скорчпол. Вместо того чтобы отыскивать причины, а затем сравнивать итоги, оставляя при этом сами революции по большей части неизученными «черными ящиками», он сосредотачивается на комплексной природе самой революции. Он находит различные причины отличающихся друг от друга революционных проявлений и объясняет итоги революции процессом революционного «фехтования» с выпадами и парированием ударов по всему обширному и изменчивому пространству французской земли, населенной акторами с той или иной локальной идентичностью и сложной социальной локализацией.

Люди жалуются на свое горестное положение, и это побуждает их объединяться и делать что-то с причинами этих жалоб. Впрочем, как только начинаются протесты или революции, движения разделяются, союзники прибывают и убывают, противники же предпринимают действия, требующие ответных шагов. Окончательные итоги нельзя предсказать или понять, просто лишь отыскав первоначальные причины народного возмущения. Маркофф показывает, что мы как исторические социологи можем собирать данные и создавать аналитические выкладки, позволяющие понять, что именно произошло и по каким причинам. Социология революций важна сама по себе, но также она важна и как некая лаборатория для конструирования более изощренных методов отслеживания и объяснения контингентности. Революции — это скоротечные и запутанные события, однако лучшие работы о революции приносят в изучение социального изменения методологическую и концептуальную ясность.

## ГЛАВА 4. ИМПЕРИИ

Большую часть человеческой истории одни народы имели возможность господствовать над другими либо в формальных империях, либо используя косвенные средства. Империя, по определению Джулиана Гоу, — это «социополитическое образование, в котором политические (точнее, социополитические) процессы зависимых обществ, народов или территорий находятся под перевешивающим влиянием и контролем органов центральной политической власти» (Go, 2011, p. 7). Мы не ставим перед собой целью критический обзор несметного числа определений империи. Все эти определения единогласно указывают, что от неимперских форм политики империи отличаются тем, что осуществляют власть над территориями и народами, находящимися за пределами ядра их политики, и тем, что основная движущая сила империи вырабатывается благодаря взаимодействию между ядром, стремящимся поддерживать или расширять и углублять свое владычество над перифериями, и его перифериями, стремящимися ослабить или свести на нет владычество над ними ядра. Имперская движущая сила является темпоральной движущей силой, что означает, что и имперские образования, и подвластные территории могут быть поняты только как меняющиеся продукты последовательно совершавшихся в прошлом этапов завоевания, инкорпорирования и сопротивления.

Неспособность увидеть в империях динамичные и контингентные социальные системы вредит книге Ш.Н. Эйзенштадта «Политические системы империй», масштабному сравнительному исследованию древних империй, публикация которого в 1963 году способствовала возрождению интереса к сравнительной историче-

ской социологии. Эйзенштадт покопался в обширном числе исторических случаев, чтобы отыскать то, в чем, по его мнению, заключаются черты общности политической организации империй. Его главный вывод состоит в том, что во всех империях имперская власть зависела от создания того, что он называет «свободными ресурсами» (“free-floating resources”), то есть ресурсами, не привязанными к локальным институтам, каковой, например, является прибыль от торговли на дальние расстояния или горнодобычи. Следовательно, увеличение или сокращение подобных свободных ресурсов становятся основной движущей силой в истории по Эйзенштадту, хотя он в основном занимается лишь описанием, а не объяснением их метаморфоз. Он уделяет мало внимания тому, как империи эксплуатировали завоеванные территории, и не дает никакого объяснения тому, как и почему подвластные народы порой поднимали восстания. В результате, историческое исследование Эйзенштадта не содержит в себе временной составляющей: создается впечатление, что те империи, которыми он занимается, находятся под незначительным влиянием их прошлой истории, а их взлет и упадок представляются последствиями событий, выбивающихся из общего порядка вещей.

Конечно, по своим последствиям для империй наиболее весомы такие события, как завоевание колоний, а для колоний — их подчиненное положение в рамках империи. Когда мы изучаем имперские общества в их обособленности от остальных, как поступают многие социологи и историки, мы не уделяем внимания тому, как усилия подобных доминантных обществ по извлечению богатств и осуществлению геополитического контроля над другими частями света приносят им выгоду и формируют их облик. Когда мы исследуем бывшие колонии и территории, находившиеся под непрямым правлением, необходимо обращать внимание на то, каким образом способы их эксплуатации в прошлом продолжают



оказывать на них свое формирующее и ограничивающее воздействие. Нынешние формы господства усугубляют подобную прошлую эксплуатацию, которая в свою очередь увеличивает их вероятность.

Любой разбор экономики США, не учитывающий гегемонистское положение этой страны в мировой экономике, будет частичным и искаженным. Любая работа о политической жизни США, исключая из рассмотрения неоднократные вмешательства Америки в дела государств по всему миру, не поможет понять, как распределяет свой бюджет федеральное правительство, как конкурируют за власть партии, что думают о себе самих и своей стране американцы и как национальное правительство учреждает и реализует свои гражданские программы. Даже если какая-то страна, например Британия или Франция, уже больше не владеет своей империей, ее экономика, культура и политическая система, а также этнический состав ее населения и отношения между различными группами этого общества могут быть поняты только с учетом этого колониального наследия.

Что же предприняли исторические социологи для выяснения смысла того, каким образом империализм и неформальные способы господства сказались и на правителях, и на тех, кем правят? Один из подходов заключается в том, чтобы изучить, как колониализм сформировал национальные идентичности. В вводной главе мы встретились с аргументом Валлерстайна о том, что Индия — в качестве культурной категории, а также политической единицы с установленными границами — была создана британским завоеванием и движением за независимость. Если бы усилия французов по завоеванию части Британской Индии увенчались успехом, Индия, возможно, была бы теперь разделена на северную и южную Индию, две страны с различной культурой. Или если бы движение за независимость объединило индусских и мусульманских активистов или если бы последние британские власти Индии придерживались иной стратегии, раздела,

возможно, и не произошло бы, а нынешние Индия, Пакистан и Бангладеш были бы единой нацией. С точки зрения Валлерстайна, национальные идентичности совпадают с национальными границами, причем те и другие устанавливаются в ходе конфликтов между имперскими державами, а затем благодаря успеху либо ограниченности движений за независимость.

Бенедикт Андерсон утверждает, что имперские державы, отчасти сознательно, а отчасти в силу обстоятельств, создавали в своих колониях национальные культуры также посредством насаждения среди лингвистически неоднородного населения своего собственного языка (английского, французского и испанского). Газеты, созданные отчасти имперскими, а отчасти местными деятелями (в последнем случае зачастую для того, чтобы служить голосом сопротивления иностранному владычеству), возвращали «печатные языки», которые начинали вытеснять родные устные языки и «закладывали основы национального сознания <...> зародыш национально воображаемого сообщества» (Anderson, [1983] 1991, p. 44; Андерсон, 2001, с. 67). В языке и печатной культуре Андерсон распознает причинное звено между имперским завоеванием с культурным доминированием и появлением националистического сопротивления. С точки зрения Андерсона, наибольшее значение культура имеет в специфические, переломные моменты истории и оказывает воздействие главным образом на националистические чувства, у которых затем появляется их собственная причинная сила. Модель Андерсона подразумевает, что, как только национальные идентичности созданы, влияние культуры после этого уменьшается, даже если ее автор и не прослеживает эту позднейшую историю<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Латиноамериканисты подвергли аргумент Андерсона критике за то, что он наделяет культуру слишком большой автономией. Критики Андерсона отмечают, что национальные идеи продолжали меняться в ходе борьбы

Империализм также сказывается и на социальных отношениях и этнических идентичностях и размежеваниях в рамках колоний. Пьер Бурдьё начинал свою карьеру в Алжире в последние годы французского владычества. Он пришел к выводу, что в борьбе против французского владычества сформировалась не только алжирская идентичность, являвшаяся одновременно и националистической, и арабской, но также были трансформированы и локальные идентичности, в результате чего произошла маргинализация неарабоговорящих жителей, на которых смотрели как на членов племен, не воспринимая их в качестве полноценных алжирцев (Bourdieu, 1958)<sup>1</sup>. Таким образом, французский колониализм, создав особую разновидность алжирской идентичности, ограничил для маргинализированных групп возможность вступить в модернистское общество и капиталистическую экономику и извлечь от этого выгоду. Акцент Бурдьё на культуре и ее месте в социальных отношениях ограничивает его внимание к развитию и функционированию алжирской экономики и государства. В результате, он мало что может сказать о траектории развития Алжира после получения независимости или об отношениях между колониальными и постколониальными институтами и политической жизнью.

---

за независимость, а потом и в политических конфликтах после обретения независимости, и что национальные идентичности по большей части имели свой иерархический порядок и отражали крайнее неравенство экономической и политической власти, а в дальнейшем претерпели трансформацию в связи с доминирующим положением США в XX в. (Внятный общий обзор этой критики Андерсона дает Миллер: Miller, 2006).

<sup>1</sup> Калхун (Calhoun, 2006) дает прекрасный общий обзор опыта пребывания Бурдьё в Алжире и его сочинений об Алжире и анализирует, как Алжир сказывался на теории и методе последнего в течение всей его дальнейшей жизни после возвращения во Францию.

Империализм сказался не только на колонизированных, но и на колонизаторах. Кумар (Kumar, 2003) полагает, что современная британская идентичность отражает ее имперское прошлое и что о своей «британскости» и отличии их страны от других британцы думают на языке идей и практик, которые формировались во время расцвета британской империи в XIX столетии. Его анализ затрагивает область культуры; главным образом его волнует объяснение чувств и самопрезентации британцев, и из этой же сферы он черпает свои свидетельства.

Работы Кумара и Бурдые о колониальных и имперских идентичностях — это историческая социология, хотя их концепции времени и то, как время используется ими в своем анализе, некоторым образом отличаются от концепций тех социологов, которые мы разобрали в предыдущих главах. Их в меньшей степени волнует прослеживание цепочек контингентного действия, ведущих из прошлого к некоторому исходу, требующему объяснения (например, к капитализму или революции). Напротив, они начинают с крупного исторического события или, точнее говоря, с исторических условий (империализм) и прослеживают значение этой социальной формы для последующих изменений или их отсутствия. Иными словами, вместо того чтобы попытаться объяснить динамичное развитие или упадок Британской или Французской империи, они начинают с самого факта существования империи и смотрят, как ее влияние сказывается на социальной жизни, взятой в наиболее важных для них аспектах: для Кумара это политическая культура в имперской метрополии, а для Бурдые — одновременно и экономическое развитие, и межэтнические отношения во французской колонии Алжире.

Подобным же образом Филип Смит (Smith, 2005) применяет культуралистский подход к объяснению того, почему в эпоху, наступившую вслед за концом больших формальных империй после Второй мировой войны, крупные державы начали развязывать войны с тем,

чтобы подтвердить или укрепить свой контроль над бывшими колониями или зонами непрямого правления. Как и Кумар, Смит видит основания милитаризма в националистических образах самовосприятия и обладающих национальной спецификой нарративах (именуемых им «гражданскими дискурсами»), повествующих об опасностях и угрозах, оправдывающих войну. Он сравнивает США и Британию, а также Францию и Испанию, и рассматриваемые им случаи позволяют ему проследить происходящее со временем изменение. Впрочем, изменения, выводимые им на первый план, укладываются в рамки культурных категорий, свойственных каждой стране. Смит мало что может сказать о том, как изменение военного потенциала Америки или Британии, тип вызовов, исходящих от небольших стран и бывших колоний, или всеобщая структура глобальной геополитики сказываются на военном успехе или же готовности или способности государств начинать войны либо продолжать свое участие в них.

Империи, как и любые другие комплексные и крупномасштабные социальные системы, невозможно понять, если анализировать их только как некое культурное (или экономическое, или военное) образование. Изменение часто начинается в одной сфере, сказывается затем на другой, которая в свою очередь влияет на третью. Таким образом, целенаправленное сосредоточение на культуре (или любой другой сфере) будет упускать из вида некие ключевые шаги в динамике изменения. Гораздо более полезный подход предлагает Майкл Манн (Mann, 1986, 1993, 2012) в своей многотомной истории власти, где он различает четыре, на его взгляд, основополагающие формы власти: политическую, экономическую, военную и идеологическую. Манн утверждает, что обретение социальными акторами и институтами рычагов влияния зависит от того, насколько полно они способны обладать более чем одной разновидностью власти. Например, Римская империя была более могущественной и более стойкой,

чем другие древние империи, потому что наряду с военной властью, скрепляющей все империи, она соединяла в себе идеологическую (общий латинский язык и культура у элит) и экономическую власть (торговые сети, более тесные и прочные, нежели торговые сети любой другой древней империи) (Mann, 1986, p. 250–300).

Ключевая идея Манна состоит в том, что социальные изменения происходят в «заворах» тех институтов, которые обладают властью и осуществляют ее. Изменения в распределении одного типа власти отражаются и на трех остальных. Иными словами, когда у одного из носителей власти получается кооптировать или захватить властные ресурсы других (а это то, что происходит, когда империя завоевывает колонию), это меняет характер как метрополии, так и колоний. Носители власти могут обнаружить, что происходившие у других трансферы власти, в которых первые не принимали прямого участия, с некоторых пор начали сдерживать или увеличивать их способность господствовать над подвластными народами или употреблять свою власть на некоторой территории. Таким образом, когда общество становится империей, экспансия институтов власти за рубеж (или создание за рубежом новых) видоизменяет существующую структуру отношений в среде элит и с народными массами в метрополии.

Конечно, на социальную структуру завоеванных земель империализм оказывает еще большее влияние, чем на метрополию. Империалисты правят не только при помощи грубой военной силы, хотя зачастую это жизненно необходимо для утверждения и обеспечения их властных полномочий. Напротив, по большей части империалисты правят косвенно, когда внедряются сами и внедряют свои институты в существующие политические, экономические, военные и идеологические формы власти в своих колониях. Действуя подобным образом, иностранные империалисты видоизменяют старые институты власти на завоеванных территориях. Даже когда

империя уходит из колонии (либо во множестве тех случаев, когда формальный контроль не устанавливается, а вместо этого иностранцы осуществляют не прямое правление), институты, сохраняющиеся в постколониальном обществе, не возвращаются к состоянию, существовавшему до колонизации. Вот почему бывшим империям зачастую не составляет большого труда поддерживать господство над бывшими колониями, даже несмотря на вывод своих войск (конечно же, империи или гегемоны часто держат военные базы на территориях, формально им неподвластных). На институтах нового государства времен новообретенной независимости до сих пор лежит отпечаток эпохи колониального владычества, благодаря чему там по-прежнему удерживается господство капиталистов и культурных идей, часто с помощью кооптированных локальных элит.

Манн (Mann, 2012) предлагает модель, позволяющую отслеживать влияние какой-либо конкретной социальной формы (такой, как империализм, капитализм, государство) на длительных временных отрезках, и прилагает эту модель к государствам (мы разберем их в следующей главе), так же как и к империям. Он берется за рассмотрение следующих фундаментальных вопросов: (1) почему небольшое число лидирующих капиталистических стран, обладавших подавляющей экономической властью, создали или расширили в XIX веке огромные империи и (2) почему эти империи состояли частично из формальных колоний, а частично — из номинально независимых государств, косвенно контролируемых великими державами. Прослеживая масштабы и институциональные основания военной, политической, экономической и идеологической власти каждой из империй на определенном временном отрезке, он объясняет расширение границ этих империй и изменение баланса между формальным и неформальным контролем внутри каждой из них.

Свой анализ Манн сосредотачивает на трех империях — британской, американской и японской — в период

с 1890 по 1945 год. Он приходит к выводу, что эти империи редко приносили какую-то выгоду их создателям.

Поступательное движение империализма подстегивалось не просто инструментально-рациональным стремлением к экономической прибыли. Их [империи] потихоньку, шаг за шагом затягивали эмоциональная жажда славы, страх за свою безопасность в связи с наличием соперников, локальная слабость и благоприятные возможности, воспользоваться которыми призывали определенные группы интересов... (Mann, 2012, p. 112).

Группы интересов у этих имперских держав различались, у каждой из них была своя характерная «помесь государства с корпорациями» (Ibid., p. 127) вкуче с народной готовностью (высокой в Японии, низкой в США) поддерживать войны с иностранными государствами и их оккупацию и известным числом граждан, готовых селиться в колониях (и снова высоким в Японии и низким в США). Британия выбивалась из этого ряда, поскольку в данный период ее колонизация продвигалась главным образом за счет «независимых авантюристов, торговых компаний и переселенцев», пока прочие районы косвенно контролировались «британской экономической и финансовой экспансией» (p. 128). Совершенно конкретные институциональные конstellляции власти внутри любой имперской страны создали присущую ей форму империализма, а в своей совокупности эти разнообразные империализмы создали геополитическую ситуацию, когда несколько стран прямо или косвенно контролируют почти весь земной шар.

Манн (Mann, 2003) также рассмотрел ограниченность и провалы американской «войны против терроризма». В отличие от Смита, сосредоточившегося на нестыковках «двоичных кодов», используемых для оправдания войны в Ираке, Манн помещает культуру в общий контекст, когда показывает, что превосходство Америки



в сфере военной власти не подкреплено соответствующим потенциалом в других формах власти. Затем он анализирует, как слабость США в политической, экономической и идеологической сферах позволяет не только иракцам, но даже их собственным союзникам оспаривать американские планы, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что режимы, которые были покорены военной силой США, по-прежнему способны бросить вызов американским экономическим и политическим интересам. Дополнительным подспорьем для анализа Манна является не только его внимание к изменению во времени (как у Смита), но и то, что он прослеживает, каким образом изменения, касающиеся одной разновидности власти в каком-то одном конкретном месте, сказываются на других формах власти и всей структуре имперского господства в рамках отдельных стран и отношениях между странами.

Внимание Манна сосредоточено главным образом не на завоеванных и доминируемых территориях, а на самих империях, и, поскольку он пишет всемирную историю, у него нет возможности заниматься детальными сравнениями. В этом отношении его анализ схож с анализом взаимовлияния миросистемных циклов и исторического развития миросистемы, предложенным Валлерстайном и Арриги для объяснения ухода одного гегемона и замещения его другой доминирующей капиталистической державой. Во второй главе мы обсуждали, что их анализ, предназначенный для объяснения работы миросистемы в целом, не вполне подходит для объяснения того, почему отдельные страны или регионы перемещаются между ядром, полупериферией и периферией. Их теория неспособна объяснить и то, почему некая конкретная страна или империя в одну эпоху становится гегемоном, а затем утрачивает свои позиции, уступая стране, бывшей некогда на положении меньшей державы.

Наиболее последовательная попытка показать, как сказываются империи на экономическом развитии ко-

лониального периода и периода, наступившего после получения независимости, была сделана Джеймсом Махоуни (Mahoney, 2010) в его сравнении латиноамериканских колоний Испании, с последующим сопоставлением их с американскими колониями Британии и Португалии. Большой инновацией Махоуни была демонстрация того, как сложность доколониальных институтов сказались на самой природе колониализма, а следовательно, на степени развития в условиях колониализма, а затем и после получения независимости. Он прослеживает четырехэтапное развитие каждой территории, колонизированной испанцами: социальные институты до прихода испанских завоевателей; структура, созданная в первую, меркантилистскую фазу испанского владычества; то несколько видоизмененное состояние колониального управления, которое имело место при либеральном правлении Бурбонов в XVIII веке; и, наконец, социальный порядок, возникший после получения независимости.

Тщательное ознакомление Махоуни с историей каждой страны привело его к ясному осознанию того, что для некоторых стран, прежде всего Чили и стран Центральной Америки, существовал еще один момент структурной трансформации, вызванный войнами XIX века. Махоуни объясняет, как война помогла Чили и Коста-Рике сделать большой шаг в социальном и экономическом развитии, который не был бы возможен без нее, тогда как в остальных странах Центральной Америки война привела к власти реакционные элиты, которые до сих пор сдерживали и продолжают сдерживать ее развитие. В случае Коста-Рики ее изолированность от войн в остальных частях Центральной Америки обусловила консолидацию там либерального правительства.

Для Чили же война была и непосредственным экономическим стимулом, и способом присвоить к ее территории земли, богатые нитратами. Анализ Махоуни дополняет анализ Цейтлина, который мы видели во второй главе. Махоуни выявляет тот период, когда благодаря

войне социальная структура Чили стала открытой, и одновременно раскрывает долгосрочные последствия, которые это имело для экономического развития. Цейтлин же прослеживает ту внутреннюю политическую причину, которая оказалась подлинным двигателем изменения: новые нитратные земли создали новую горнодобывающую элиту, что ударило по старой элите, нарушило классовые отношения и сделало возможными две гражданские войны, создавших определенный тип государства и слегка обновивших состав чилийских элит, позволяя таким образом происходить какому-то, пусть и все еще ограниченному, экономическому развитию.

Что касается других стран испаноязычной Америки, после получения независимости их относительное положение осталось практически неизменным. Знаменитое скатывание Аргентины от одной из богатейших стран в мире в 1920-х годах к ее нынешнему положению, которое не дотягивает даже до уровня самых бедных западноевропейских стран, согласуется с упадком в эти десятилетия испаноязычной Америки в целом. Аргентина и Уругвай остаются на вершине латиноамериканской иерархии, как раз там, где они и были сто лет назад. Их позиции на континенте и на мировой арене и уровни социального развития до сих пор формируются их стародавними траекториями в качестве торговой периферии испанских Габсбургов, ставшей ядром либеральных колоний испанских Бурбонов.

Торговый колониализм заложил особый тип политики, систему эксплуатации, которая использовала принудительные методы контроля за рабочей силой при добыче сырья (прежде всего, драгоценных металлов, но также и сельскохозяйственной продукции). Конкретные формы контроля за рабочей силой варьировались в зависимости от того, с какой социальной структурой сталкивались первые конкистадоры. Несмотря на вариации системы правления, во всех колониях правящая колониальная элита имела одну общую черту: для нее была

характерна тесная взаимосвязь, переходящая едва ли не в полное слияние, чиновников, духовенства, землевладельцев и купцов. Колонии отличались друг от друга лишь размером элиты и тем, насколько прочно она сумела встроиться в завоеванные общества. Чем больше, богаче, сложнее было доколониальное общество, чем более устоявшимся оно было, тем увереннее смогла прижиться меркантилистская колониальная элита, отражая вызовы как со стороны испанской короны, так и со стороны коренных народов и создавая себе состояния в ущерб будущему развитию. Там, где слой этой элиты был тонок, как, например, в периферийной Аргентине, Бурбоны обнаружили пустые пространства — как в географическом, так и в структурном смысле, — куда они могли насаждать новые либеральные элиты, которые подогревали экономическое развитие. Махоуни мало что может сказать по поводу того, какое влияние оказывали колонии на метрополию. Огромную силу его анализу придает то, что он нашел систематический способ дифференцировать доколониальные общества и представить их различия друг от друга в нескольких плоскостях, чтобы объяснить те или иные испанские, а в сравнительной главе британские и португальские стратегии по контролю над народами и землями в тех колониях, которые были завоеваны европейцами. По сути, он считает, что различия между типами колониализма или формами имперского владычества складываются тогда, когда к коренным народам приходят колонизаторы и завоевывают их. Политическая и культурная жизнь метрополии не формирует эти различия заранее.

Широта и богатство сравнительного исторического анализа Махоуни позволяют ему строже, чем когда-либо ранее, объяснить, почему землям с густонаселенными, развитыми политиями, которые были колонизированы европейцами, всегда так трудно избежать периферийной позиции. Меркантилистские колонии ядра никак не могли достичь более высокого экономического

развития, потому что, пока они находились под меркантилистским правлением, там сложились элиты, которые не получилось бы упразднить либеральными реформами. В конечном итоге либерализм имел значение главным образом для бывших периферий, открыв возможности для новой коммерческой элиты в Аргентине. Что касается большого числа остальных стран колониального мира, либерализм пришел к ним слишком поздно.

Империи, как нас учит Манн, никогда не бывают исключительно экономическими, военными или культурными порождениями. И тем не менее научные работы, сосредотачивающиеся на одном или двух аспектах империализма, могут представлять собой большой прорыв в постижении, если ими, подобно исследованию Махоуни, будет основана концептуальная структура, позволяющая в точности определить причинную роль анализируемых факторов, а следовательно, создан базис для того, чтобы показать, когда и как в эту причинную цепь включаются прочие социальные силы, как только что мы в общих чертах обрисовали для цейтлиновского анализа чилийской политики.

В некотором переломном отношении параллельно исследованиям Махоуни движутся исследования по германскому колониализму Джорджа Стайнмеца (Steinmetz, 2007, 2008). Подобно Махоуни, он сравнивает колонии в рамках отдельно взятой империи, а именно Германии. Подобно Махоуни, аналитический приоритет он отдает лишь одному аспекту империализма. В работе Стайнмеца это идеологическая власть. Германская империя особенно хорошо подходит для изучения культуры. Она была создана позже империй других европейских имперских держав (хотя и не позже американской империи). Колонии Германии выбиваются из общего ряда, потому что в экономику страны они не вносили практически никакого вклада: германская империя была создана главным образом из соображений престижа и с подачи

германских элит, боровшихся друг с другом за власть, престиж и должности в колониальной администрации, а не за финансовый куш. В результате германские колониальные элиты пользовались большей автономией от групп интересов метрополии, чем аналогичные испанские, французские или британские элиты (ведь доход от этих колоний был весьма мал). Соответственно, Стайнмец показывает, как колониальные элиты вступают в идеологическую и бюрократическую конкуренцию за власть без досаждающего давления финансовых кругов метрополии.

К каким же выводам он приходит? Во-первых, колониальные чиновники прибывали на завоеванные земли не просто как отдельные лица. Скорее, они прибывали как представители элит, перенесенные с родной почвы и сохраняющие в колониях свою особую идентичность. Три основополагающие германские элиты, «дворянство, имущая буржуазия и *Bildungsbürgertum* (то есть образованный средний класс)» (Steinmetz, 2008, p. 597), прибывали в колонии, привозя свои особые формы капитала, который они использовали для получения контроля над германским колониальным правительством. Главной ареной борьбы была «политика в отношении туземного населения». Каждая элита заявляла претензии на «этнографическую экспертизу», основываясь на той разновидности культурного капитала, который она принесла в колонии из Германии.

Стайнмец показывает, как «затянувшееся соперничество между разными фракциями расколотого господствующего класса может помешать полю устояться (*settled*), усиливая при этом его автономию, тогда как образы действия, специфичные для конкретных полей, становятся более систематичными и ясно определенными» (Steinmetz, 2008, p. 600), и оно же обеспечивает базис для того, чтобы колониальные элиты, и в индивидуальном, и в коллективном отношении, «со временем усилили свою автономию от государства-метрополии» (*Ibid.*, p. 591–592). Иными словами, хотя три германские элиты

боролись друг с другом за то, как вести дела с туземцами, борьба эта велась на основе экспертного знания, которое, как они заявляли, было отточено ими до совершенства благодаря непосредственному опыту владычества над туземцами конкретно тех колоний, которые они населяли. Поскольку каждая из элит высказывалась с позиции экспертного знания, они смогли еще более решительно обозначить свое коллективное отличие от тех, кто формально занимал более высокое положение по сравнению с ними, от тех элит в метрополии, которые из Берлина лоббировали назначение чиновников, и от элит других колоний, экспертное знание которых было иным (из-за того, что иными были туземцы, которыми они правили) и не могло быть автоматически перенесено в реалии другой колонии. Свои претензии на обладание экспертным знанием колониальные элиты использовали для того, чтобы не дать немцам из метрополии возможность осуществлять прямое вмешательство в колониальную политику или оказывать на нее косвенное влияние через заключение союза с одной колониальной элитой против других в обмен на принятие стратегических решений или на долю колониальной поживы. Свидетельством этого стала растущая способность колониальных чиновников предпринимать шаги, противоречащие интересам капиталистов метрополии или даже геополитическим интересам центрального германского правительства. Также это доказывается различиями в политике по отношению к туземцам, которая проводилась чиновниками в Юго-Западной Африке (где немцы устроили геноцид), Самоа (где с туземцами обращались как с антропологическими диковинами) и Циндао (где с уважением относились к китайской культуре, в то время как население подвергалось экономической эксплуатации и было политически бесправным), — различиями, которые не могут вытекать из экономических или геополитических соображений.

Стайнмец показывает, как изменяются со временем колониальное правление и политика в отношении ту-

земцев и как они варьируются от колонии к колонии. Поскольку Стайнмец так подробно описывает конкретные условия германской империи в целом и различия между колониями, его труд, подобно труду Махоуни, служит базисом для других ученых, изучающих, как способы использования элитами культурного капитала в других империях сказываются на системах правления. Однако сравнение колоний не позволяет увидеть, как колонии и созданные колониализмом германские элиты влияли на политическую и экономическую жизнь метрополии. Во многом это обусловлено особенностями германской империи, а именно — не слишком высоким значением колониализма для германской экономики. Достоинства данной работы, связанные со вскрытием переломной динамики в колониях, имеют свою оборотную сторону: невозможность экспликации динамики воздействия, оказываемого империей на политическую экономию метрополии.

Хотя ни Стайнмец, ни Махоуни сами не говорят об этом, их работы служат своего рода наброском для решения проблем, которые были подняты Чакрабарти (Chakrabarty, 2007) в его описании универсалистского и европоцентристского научного познания. Ни Стайнмец, ни Махоуни не предлагают универсалистскую теорию империализма. Конечно, в их работах речь идет о европейцах, ведь в те столетия, изучением которых они занимаются, империалистами были именно европейцы. Как бы то ни было, они старательно подмечают и постоянно уточняют конкретные условия, вызвавшие к жизни те изменчивые формы колониализма, которые они описывают и объясняют. Несмотря на то что никто из них специально не сосредотачивается на сопротивлении колониальному владычеству, их исследовательская деятельность обеспечивает другим исследователям базис для точной фиксации условий, подогревающих или тормозящих движения за независимость.



Нам необходима осмотрительность, чтобы не дать резонной критике европоцентризма, выдвигаемой Чакрабартти и другими исследователями, заставить нас отказаться от занятий сравнительным анализом. Усилия по утверждению универсализма, подобные работе Эйзенштадта (которая умудряется быть универсалистской, не будучи при этом европоцентристской, так как основывается не на европейских империях Нового времени, а на древних империях и Китае), оставляющие без внимания различия между империями, не способствуют углублению нашего понимания конкретной исторической динамики каждой империи. С другой стороны, теория Манна, универсалистская только в том смысле, что в ней высказывается утверждение, что все общества формируются взаимовлиянием тех самых четырех типов власти, уравнивает собой другие типы универсализма, показывая, как сочетания и взаимные структурные отношения носителей каждого типа власти варьируются в разные эпохи и в разных странах. Это позволяет точно установить общие черты и предложить объяснения, соответствующие уникальным условиям каждой империи, государства, класса, колонии или движения сопротивления. Труд Чакрабартти изобилует увещаниями; к сожалению, сама его эмпирическая работа выполнена в импрессионистской манере и потому не может служить основой для объяснения исторических изменений или для учета вариативности в ряду обществ.

Более полезны работы Джулиана Гоу и Карен Барки, которые я рассмотрю в заключительной части этой главы. Каждый из них решает проблему того, как проводить сравнения исторических эпох и империй. Гоу сравнивает британскую и американскую империи. Он считает, что мы должны «сравнивать сопоставимые исторические этапы [развития империй]» (Go, 2011, p. 21). Соответственно, сравнивать империи Британии и США следует не в один и тот же хронологический момент, а скорее, обращаясь к тем временам, когда каждая из них нахо-

дилась в состоянии «становления гегемонии», «зрелости гегемонии» или «упадка». Гоу показывает, что на этапе становления империи придерживаются иных стратегий контроля над колониями, нежели зрелые гегемоны, и что совсем иные силы гнетут империи, когда они находятся в состоянии упадка. В то же время то внимание, которое он уделяет этапам развития империи, позволяет ему точно указать различия между британской и американской империями и обнаружить источники этих различий: разнородность завоеванных ими территорий (это схоже с анализом Махоуни), их внутренних экономик, классовых структур и государственных институтов, а также различие эпох мировой истории, когда каждая империя переживала имперские становление, господство и упадок.

Анализ Гоу отличается от анализа теоретиков миросистем, потому что он показывает, как институциональные и культурные формы империи, сложившиеся еще до того, как данная империя достигла гегемонии, определяют то, каким образом она сможет воспользоваться благоприятными возможностями, предоставляемыми мировой гегемонией, чтобы усилить свою имперскую эксплуатацию, и каким образом империи будут задействованы эти долголетние структуры, чтобы справиться с утратой своей гегемонии. С точки зрения Гоу, облик имперской политики формируется географической и темпоральной локализацией в миросистеме (однако сама эта политика не является производной формой подобной локализации). Он возвращает носителей имперского сознания в исследования имперской проблематики и показывает, как убеждения и практики данных акторов, живущих и действующих в существующих институтах, тем или иным образом ограничивают или повышают их способность направлять геополитическое течение.

В работе Карен Барки (Barkey, 2008) озабоченность динамикой империи (на чем сосредотачивается Гоу)

связана с интересом к наследию империализма, доставшемуся бывшим колониям (эта проблема волнует Махонуни). Она стремится установить причины имперской дезинтеграции, а затем проследить, как наследие империи формирует облик национальных государств, созданных вслед за имперским коллапсом. Исследовательская деятельность Барки сосредоточена на Османской империи. С точки зрения волнующих ее вопросов, Османская империя — как раз подходящий случай, и ее историческое исследование османов ясно показало необходимость изучения динамики и последствий коллапса. Силу анализу Барки придает то обстоятельство, что она, подобно Стайнмецу, выбирает для рассмотрения случай, в котором внешние факторы играют лишь ограниченную роль. Для того чтобы изолированно взглянуть на роль культуры, Стайнмец изучает колонии, имеющие малую экономическую или геополитическую ценность; точно так же и рассматриваемая Барки Османская империя была подкошена главным образом не внешними вызовами, а внутренними конфликтами и противоречиями.

Каким же образом Барки изучает внутреннюю динамику Османской империи? Она начинает с того, что всерьез принимает распространенное среди ученых представление об империи как о собрании в основном автономных этнических образований и локальных политических единиц. Затем она задает вопрос: почему вообще сплотилась эта империя, какими стратегиями пользовались османские правители для контроля над территорией и извлечения доходов и как эти правители приходили к решению (или как их к нему принуждали) отказаться от желания еще большего контроля?

Барки приходит к выводу, что «османы хорошо понимали, что их владычество имеет пределы, как с точки зрения географии, на которую простирается их контроль, так и с точки зрения ограниченности имевшихся людских ресурсов, и скроили империю, основывавшуюся на организационном многообразии <...> на приня-

тии множественных систем правления, множественных образовавшихся в результате переговоров границ, законов и судов, форм управления государственными доходами и религиозного многообразия» (Barkey, 2008, p. 70). Больше всего внимания османские правители уделяли контролю над армией. Солдаты, многие из которых рекрутировались из представителей «внешних групп» (рабы, взятые с завоеванных территорий и похищенные христианские дети, греки), награждались земельными пожалованиями, которые зачастую отбирались у наследственных аристократов. Тем не менее армии требуют денежных трат, и поэтому османам пришлось прибегнуть к стратегии, которую Барки называет «фискализмом», усилиями, направленными на максимизацию поступлений в казну. В этом отношении османские султаны были схожи с другими имперскими правителями докапиталистической эпохи: они нуждались в постоянном притоке денег для того, чтобы расплачиваться со своими сторонниками и содержать действующую армию, необходимую для подавления оппозиции, отражения держав-соперников, а также для того, чтобы прекращение территориальной экспансии не поставило под удар само дело империи. И все же, в отличие от империалистов капиталистического типа, они генерировали очень малый доход, получаемый от торговли или прямой эксплуатации экономик завоеванных территорий.

Проследив эту стратегию во времени, Барки показывает как причины того, почему османы смогли так долго поддерживать свое владычество, так и того, почему в конце концов их стратегия потерпела крах. Султаны жаловали право пожизненного налогового откупа в обмен на однократные платежи в моменты бюджетного кризиса. Откупщики налогов, пользуясь прочностью своих позиций, смогли вступить в союз с купцами и землевладельцами (в особенности с теми, кому они переступили или продали право на откуп налогов), создав то, что Барки называет «режимами регионального

управления» (regional governance regimes), которые были крайне стойки к усилиям султанов стравить элиты друг с другом, а стало быть, позволяли налоговым откупщикам сохранять больше своих доходов. Это ужесточило бюджетный кризис, а также обеспечило базис для возникновения в периферийных районах (особенно на Балканах) требований автономии и независимости. Добиваться автономии стало легче, так как купцы империи смогли наладить связь с капиталистами в эволюционирующей миросистеме, базирующейся в Европе. Проведя эту работу, Барки получает возможность точно обозначить роль капитализма и соответствующей миросистемы в крушении Османской империи.

Используемый Барки способ анализа и предпринятая ею попытка точно указать, каким образом этнический фактор и национализм сказались на Османской империи, служат для нее и других исследователей (Barkey and von Hagen, 2008) своеобразным шаблоном, который может быть использован для анализа гибели не только Османской империи, но и империи Габсбургов, Российской и Советской империй. Эта работа создает основу для отслеживания долгосрочного влияния империй и колониализма на формирование государства. К государствам мы и перейдем в следующей главе.

## ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВА

За несколько минувших столетий государства реорганизовали глобальный ландшафт власти. Империи распались на национальные государства. Власть, некогда децентрализованная и находившаяся в руках родственных групп, племен, городов-государств, корпоративных образований, церквей и других взаимопересекающихся, конкурирующих структур, сконцентрировалась в государствах, заявляющих о своей монополии на насилие (и все более способных осуществлять ее), а также на законное отправление власти внутри международно признанных границ. Одновременно с изъятием государствами власти у соперничающих с ними структур стало увеличиваться число ресурсов, которые государства требовали от своих подданных (налоги, военная служба, обязательное школьное образование, подчинение растущему ряду законов и правил), причем стал удлиняться и перечень прав, на государственное предоставление которых смогли претендовать граждане (избирательные права, юридическое равенство, социальные пособия, образование, защита от природных и антропогенных катастроф и т. д.).

Главная трудность, с которой сталкиваются исторические социологи, состоит не в прослеживании или документировании изменений, со временем происходящих с государственным потенциалом и обязательствами государства, и не в указании конкретных различий между государствами. Сложность состоит, скорее, в выявлении причинно-следственных отношений. Образование и трансформация государств происходили в то же самое время, когда господствующим способом производства стал капитализм и когда семейные и общинные структуры, закономерные особенности демографии

и расселения людей, технология и идеология — все эти реалии претерпели фундаментальные трансформации. Каким образом исторические социологи распутывают этот клубок взаимопересекающихся и взаимосвязанных изменений? Как они устанавливают причинную связь? Когда уместнее заниматься отдельно взятым случаем с привлечением теоретических средств, а когда необходимы межстрановые и/или межвременные сравнения?

Мы не пытаемся предложить в этой главе обзор обширной литературы, которая рассматривает различные стороны процесса образования и развития государств. (Обзор этих дебатов, а также мои оценки того, какие ответы наиболее убедительны и какие направления исследовательской деятельности наиболее плодотворны, представлены в моей книге «Государства и власть» [Lachmann, 2010]). Напротив, в этой главе внимание будет сосредоточено на нескольких самых впечатляющих трактовках двух проблем: 1) образование государства и 2) возникновение и консолидация тех или иных систем социальных пособий и льгот — для того, чтобы выявить наиболее продуктивные способы решения вопросов исторической причинности.

## ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА

Как мы заметили выше, образование государства пришло на тот же период, что и развитие капитализма. Как соотносятся две эти трансформации с точки зрения причинно-следственной связи? Во второй главе мы видели, что Перри Андерсон (Anderson, 1974; Андерсон, 2010) пользовался межстрановыми сравнениями, чтобы обосновать тезис о том, что связью между ними был правящий класс каждой эпохи. Во-первых, феодальный правящий класс образовал абсолютистские государства, чтобы решить свои трудности, связанные с контролем над крестьянами после эпидемии черной смерти. Потом

абсолютистские государства Западной — но не Восточной — Европы содействовали формированию нового буржуазного класса. Потом буржуазией были устроены революции, свергнувшие абсолютизм в пользу новых, буржуазных государств, которые продвигали капиталистическое развитие и способствовали росту буржуазии<sup>1</sup>. Таким образом, с точки зрения Андерсона, причинным звеном, связывающим образование государства и переход к капитализму, являются классовые акторы, причем каждый причинный шаг приходится либо на момент, когда образуется некий новый класс, либо на момент, когда существующий класс усваивает новый способ классовой борьбы.

Анализ Андерсона изящен, ведь, чтобы объяснить все имеющиеся итоги, Андерсон выявляет некий последовательно воспроизводящийся механизм (классовый конфликт) и некий устойчивый набор акторов (классы), тем самым воедино связывая образование государства и капиталистическое развитие. К сожалению, как мы видели во второй главе, модель Андерсона страдает от того, что он не способен объяснить, как результатом схожих абсолютистских государств и классового конфликта стало то, что буржуазная революция в Англии на полтора столетия опередила революцию во Франции. Не может он осветить и вопрос появления у постреволюционных государств различий, различий масштаба и темпа капиталистического развития в этих двух странах — слабости, вскрытые посредством его межстрановых сравнений.

---

<sup>1</sup> Читатели заметят, что описанная здесь причинная последовательность короче и проще моего описания Андерсона во второй главе. Это связано с тем, что во второй главе я анализировал, как Андерсон конструирует объяснение перехода от феодализма к капитализму. Здесь же нас интересует лишь та часть его аргументации, в которой объясняется образование государства.



Чарльз Тилли также выявляет некий устойчивый набор акторов, являющихся действующими силами изменения как в экономической, так и в политической сфере. В противоположность Андерсону, ключевые акторы у Тилли — это не классы, а элиты, контролирующее государство. На взгляд Тилли, в догосударственной Европе (и более того — везде в мире) власть была рассредоточена, находясь в руках дворян, представителей духовенства и других лиц, под чьим началом состояли мелкие и взаимопересекающиеся политические формирования. Начав данный процесс пятьсот лет назад в Европе, некоторые из этих носителей власти ухитрились мобилизовать ресурсы, необходимые для нападения, разгрома и инкорпорирования соперничающих с ними элит, тем самым объединив к 1990 году «около 500 государств, потенциальных государств, небольших государств и государственно-подобных образований» в «25–28 государств» (Tilly, 1990, p. 42–3 and passim; Тилли, 2009, с. 77–78 и далее).

Государственным элитам для контроля над их расширяющимися территориями нужны были вооруженные люди и бюрократы. Тилли приводит довод, что места, где капитализм (или по крайней мере рынки) уже начали развиваться, были «богаты капиталом», имея в виду, что в них проживали люди с деньгами, с которых было легче собирать налоги (потому что их деньги были более ликвидны, нежели деньги крестьян). Удачливые правители, контролировавшие подобные территории, имели больше поступлений, чем правители экономически отсталых территорий, и поэтому могли позволить себе больше наемных солдат, а затем — чаще так, чем наоборот, — наносить поражение менее многочисленным армиям соперников с пустой казной и поглощать их территории. Этот аргумент позволяет Тилли связать воедино причинные истоки образования государства и капитализма. Капитализм помогает процессу образования государства. Слабость модели Тилли состоит в том, что

она не предлагает объяснения, почему в некоторых частях Европы капитализм и рыночные экономики развились раньше, нежели где бы то ни было еще. Не так уж много Тилли может сказать и о том, как государства способствовали капиталистическому развитию, за исключением его замечаний о том, что 1) государства покупают оружие, а это способствует росту промышленного производства и 2) когда крестьяне облагаются налогами, им нужно изыскивать наличные средства, что заставляет их сбывать свою сельскохозяйственную продукцию на рынке и/или уходить на заработки. Это коммерциализировало сельское хозяйство, а также оттягивало крестьян с земли, превращая их в пролетариев.

Тилли отмечает, что воинская повинность снизила преимущество богатых капиталом государств. Государства, имеющие многочисленных подданных и бюрократический потенциал для их набора на военную службу, могли одолеть богатых соперников, некогда господствовавших в Европе. Так, в XVIII веке итальянские города-государства и Нидерланды утратили свое военное превосходство, уступив таким странам с большим населением, как Россия или Франция. Более того, стоило только революционной Франции стать первой страной, в которой на военную службу призывались сотни тысяч, а потом и миллионы граждан, как роль небольших политий с богатой казной свелась к роли статистов в европейской геополитике. Самые успешные среди уцелевших больших государств соединяли в себе рыночные экономики, обогатившие их капиталом, и многочисленное население, которое режимы, имевшие также и мощный аппарат принуждения, могли призывать на военную службу. Франция представляет собой яркий пример этого счастливого (счастливого для правителей, а не для граждан) соединения. Британия, которая ввела призывную систему только в середине Первой мировой войны, использовала свои деньги для субсидирования более бедных союзников с мощным аппаратом принуждения, чтобы

построить ту самую коалицию, которая в конце концов разбила Наполеона.

Вторая часть изложенного Тилли в какой-то мере переворачивает причинно-следственные отношения первой. Если вначале рыночные экономики содействовали образованию государств, то в более поздние времена уже сильные государства стимулировали капиталистическое развитие. Государства и капитализм были взаимосвязаны, и, согласно модели Тилли, их обоюдный уровень развития предопределял направление, силу и специфическое воздействие соответствующего причинного эффекта. Вспомним, в первой главе мы видели, что Тилли отстаивает идею о том, что социальные процессы подвержены эффекту колеи (*path dependent*). Здесь мы видим, как эффект колеи от образования государства сказывается на капитализме, и наоборот. По мере того как развивается капитализм, он направляет ход образования государства по конкретным, богатым капиталом колеям, и, когда государства становятся сильнее, они толкают капиталистическое развитие в определенных направлениях.

К этому взаимоотношению государств и капитализма Тилли добавляет еще один элемент. Хотя немалую часть своей карьеры он признавал капитал и принуждение первостепенными активами и сдерживающими факторами для государственных элит, в книге «Доверие и правление» (Tilly, 2005) он показал, что еще одним ресурсом, который стремятся контролировать государственные элиты, являются «сети доверия», которые могут основываться на родственных, религиозных, торговых отношениях или других идеологических или структурных базисах. На протяжении большей части человеческой истории сети доверия находились в стороне от государств и других крупномасштабных политических формирований. И все же капитализм ослабил сети доверия. Пролетарии потянулись в крупные города, прочь от тех тесных общин,

где сети доверия были под защитой. Вдобавок к этому капиталистические рынки породили неустойчивость и риски, обеспечить полную защиту от которых сети доверия были не в состоянии из-за нехватки материальных и организационных ресурсов. Это позволило государствам предложить пролетариям социальные пособия и льготы в обмен на лояльность (прежде всего готовность служить в вооруженных силах). По мере поглощения государствами сетей доверия, у аристократов и других привилегированных элит становилось меньше рычагов влияния на государство, что создавало для пролетариев (во главе которых зачастую стояли рекруты и их семьи) открытую возможность требовать демократических прав, а также социальных пособий и льгот. Таким образом, Тилли выявляет еще одну колею — в виде сетей доверия, посредством которой капитализм усиливает государство, а возросшая мощь государства и дальше формирует облик капитализма (посредством разросшегося пролетариата, социальных пособий и демократии).

С точки зрения Тилли, государство — это организационный стержень, та зона, куда стягивается и перебрасывается все многообразие ресурсов, причем то, как это делается, преобразует облик капиталистической экономики и гражданского общества, некогда основывавшегося на доверии. Преимуществом подхода Тилли является его всеохватность: Тилли интегрирует данные о трансформации всех основных социальных сил в рамках одной единственной, государство-центричной модели. Недостатки же его подхода схожи с недостатками марксистской модели Андерсона: никто из них не может осветить возникновение вариативности в рамках национальных государств, потому что они упускают из вида конфликт внутри того, что каждый из них преподносит в качестве целостного актора, — аристократических и буржуазных классов Андерсона и государственной элиты Тилли.

Теоретическое изящество и темпоральная связность завоевываются посредством упрощения истории, что неудивительно. Вопрос здесь в том, что именно теряется при этом упрощении, в котором вынужден участвовать каждый исторический социолог, чтобы из насыщенных исторических свидетельств создать связный нарратив, который даст ясное представление о взаимопересекающихся и переплетенных причинно-следственных линиях. Если ценой упрощения является неспособность объяснить объект анализа (как, например, неспособность Андерсона назвать причины раннебуржуазной революции в Англии), значит, упрощение зашло слишком далеко. В случае Тилли теряется нечто в общем-то периферийное для его изысканий, а именно — различия в тех разновидностях прав гражданства, которые государства предлагают (или вынуждены уступить) своим подданным.

Тилли пишет о «договоренностях», заключенных между правителями и сообществами доверия, но не объясняет, как эти договоренности достигались или как различались условия этих договоренностей во времени и пространстве. Не соотносит он условия этих договоренностей и с позднейшими событиями, связанными с формированием государств всеобщего благосостояния. Несправедливо просить ученого обращаться к рассмотрению тем вне круга его собственных занятий: поэтому мы не можем ожидать, что Тилли объяснит нам государство всеобщего благосостояния, если его самого интересует образование государства. Впрочем, оценивать какую-либо теорию или подход мы можем на основании того, может ли она быть приспособлена для объяснения вещей, не входящих в круг предметов, для которых она и была разработана. С учетом этих условий модель образования государства у Тилли можно критиковать за то, что она неспособна связать как процесс образования государства, так и отношение между государствами в стадии образования и народными протестами и сопротивлением, которые они провоци-

руют<sup>1</sup>, с развитием прав гражданства или социальных пособий и льгот.

Происхождение прав гражданства и вопрос причинного отношения, в каком они стоят к развитию капитализма и образованию государства, составляют собственный предмет исследовательской деятельности Маргарет Сомерс (Somers, 1993, 2008). Разобрав ее анализ, мы увидим, что она дает свое объяснение причин различий между странами и различий внутри стран, оставшихся в тени в работе Тилли, тем самым предлагая некий шаблон для объяснения межстрановой вариативности среди систем социального государства, пусть даже ее исследование касается только одной страны.

Сомерс (Somers, 1993) приходит к выводу, что в Британии права гражданства различались в зависимости от местности и что те требования гражданских (надлежащее судопроизводство, право продавать свой труд), политических (право голоса) и социальных прав (система народного образования, социальные пособия), которые выдвигались классами или более мелкими группами (сообщества доверия Тилли), также имели локальные различия. Она отмечает, что не вся буржуазия требовала прав собственности, не все рабочие искали социальных пособий и льгот, а также что гражданские и избирательные права нигде не становились предметом требований или гарантий до тех пор, пока предметом борьбы не становились меры социальной защиты.

Требования варьировались в зависимости от местных сообществ, а не в соответствии с классовыми совокупностями внутри наций. Поскольку требования выдвигались и борьба за них велась в рамках сообществ, вариативность имела преимущественно географический характер. Потенциальные способности сообществ

---

<sup>1</sup> Решение проблемы этого отношения у Тилли и у других было рассмотрено нами в третьей главе.

артикулировать требования и бороться за права опирались на принятые в этих сообществах системы наследования (одни из которых способствовали формированию межпоколенческого единения, другие же подталкивали лишенных наследства младших сыновей мигрировать, разрушая узы сообщества) и покоились в устройстве их систем ремесленного ученичества, а потому и различались с точки зрения этих систем. Системы наследования и ремесленного ученичества, в свою очередь, формировали характер локальных правительственных структур, которые определяли власть локальных элит и их отношения с общенациональным правительством, а также задавали условия для создания рядовыми гражданами гражданского общества.

Сомерс исходит из пластичности британской правовой системы; это нечто, созданное и непрерывно видоизменявшееся в результате длительной и упорной борьбы вокруг земельных прав и трудовых отношений. Таким образом, даже в рамках единой политики, такой как британская, могут существовать разнящиеся определения гражданства и разный состав прав, на которые претендуют отдельные лица и сообщества. То, на какие именно права гражданства (а позднее и социальные пособия и льготы) способно претендовать и каких прав способно добиться каждое сообщество, зависит от институциональных активов данного сообщества и социальных отношений тех, кто в нем живет. Таким образом, Сомерс показывает, что британское «государство» фактически представляет собой зыбкое смешение локализованных институтов, практик и социальных отношений.

По мере того как изменяются комплексные отношения между локальными сообществами, индивидами и государством, права гражданства могут не только обретаться, но и утрачиваться. В определенные эпохи вслед за волнами демократии приходят волны диктатуры (Markoff, 1996a), а в некоторых странах сегодняшней

неолиберализм ослабляет или упраздняет системы социальных пособий и льгот. Этих пособий и льгот становится то больше, то меньше в государствах, которые, говоря языком Тилли, все обладают высоким потенциалом по извлечению доходов, ведению войн и осуществлению контроля над своими гражданами. Соответственно, анализ социальных пособий и льгот, к которому мы сейчас переходим, не может быть понят как простое приложение способов анализа, используемых для объяснения образования государства. Напротив, нам необходимо обратить внимание на те способы, с помощью которых социальные группы могут мобилизовать ресурсы и заявить идеологические притязания на гражданство (и сопряженные с ним блага), адресованные как капиталистическим рынкам, так и государству. Сомерс утверждает, что там, где сильны права гражданства, государство встает (или активные граждане вынуждают его встать) на сторону граждан в противостоянии рыночным силам: «хрупкий проект поддержания социально равнодоступных демократических прав требует наличия уравнивающей силы социального государства, надежно функционирующей общественной сферы, которой обеспечивалась бы подотчетность, и соответственно крепкого гражданского общества» (Somers, 2008, p. 5). Мобилизованные граждане могут видоизменить отношения, сложившиеся между образованием государства и капиталистическим развитием, а также между государственными элитами и капиталистами, с серьезными последствиями для системы социальных пособий и льгот.

## СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Государства занимаются социальным обеспечением. Если мы посмотрим, как обстоят дела в мире, мы увидим, что пенсии по возрасту, услуги здравоохранения, образование, уход за детьми и другие виды пособий



и льгот в большинстве своем администрируются и оплачиваются через государственные каналы. Даже в Соединенных Штатах, где работодатели предоставляют большинству граждан медицинскую страховку, эти пособия косвенно субсидируются федеральным правительством посредством налогового кодекса, а также строгого регулирования страховых планов. То же самое верно и в случае частных пенсий.

И все же ошибкой будет говорить о государстве как о целостной организации, во главе которой стоит единая элита. Государства создаются, и их потенциал увеличивается, потому что множественные элиты (равно как и неэлиты) объединяются в рамках государственных институтов, ведомые самыми разнообразными мотивами (Lachmann, 2010, p. 62–66 and passim). В то время, когда государства «увеличивают свою инфраструктурную власть <...> [то есть] институциональный потенциал центрального государства <...> пронизывать собой свои территории и логистически реализовывать принятые решения», «партии гражданского общества» точно так же накапливают потенциал по «контролю над государством» (Mann, 1993, p. 59). Мы не можем остановиться лишь на прослеживании тех методов, какими государство способно контролировать гражданское общество; нам нужно проследить, каким именно образом политическая власть и конфликты перетекают из гражданского общества в множественные институты государства, начиная разворачиваться вокруг них.

Как же выделенные Манном типы государства и четыре формы власти способствуют пониманию того, как развивались системы социального обеспечения и почему они различаются в зависимости от конкретных государств? Манн говорит о необходимости поиска тех институциональных зон, в которых каждая группа акторов мобилизует свою власть. Поскольку государства — это репозитории всех четырех типов власти, всякое увеличение потенциальной способности класса или иной

социальной группы осуществлять одну или несколько форм власти сказывается на общей структуре власти и реальной возможности этих групп заставить государство предоставлять социальные пособия и льготы. Также оно сказывается и на инфраструктурном потенциале государства действительно выполнять запросы социальных групп в отношении социального обеспечения.

Анализ Манна характеризуется высоким уровнем обобщения, и его глава о расширении «сферы гражданского» в государстве XIX века по сути лишь бегло касается различий между США, Британией, Францией и Германией (Mann, 1993, p. 479–509). Тем не менее его работа предлагает ясный план того, как проводить сравнительно-исторические исследования социального обеспечения.

- *Во-первых*, надо выделить группы, у которых существует запрос на социальные пособия и льготы. В этом пункте Манн расходится с Сомерс, на взгляд которой формирование подобных запросов и требований происходит на локальном уровне и отвечает локальному потенциалу, благодаря чему группы могут себя определить и мобилизоваться. Манна вместо этого занимает национальная политика; в рабочем классе он видит доминирующего актора расширения социальных программ государства в XIX столетии.
- *Во-вторых*, следует конкретизировать, как на подобные требования реагировали их адресаты (капиталисты или государственные элиты). Манновская концепция государства как чего-то дезорганизованного и разобщенного делает нас восприимчивыми к той возможной ситуации, когда подобные требования не вызывают единого ответа, а при давлении со стороны рабочего класса среди государственных элит может возникать раскол или они могут вступать в конфликт с капиталистами.

- *В-третьих*, надо выяснить, как учреждение социальных программ сказывается на способности государства мобилизовывать различные типы власти для достижения целей в других областях (например, повышается ли или ухудшается военный потенциал государства от введения пенсий по возрасту).
- *В-четвертых*, надо выяснить, как новые социальные программы впоследствии сказываются на мобилизации социальных групп и на потенциале государственных элит и капиталистов к сопротивлению будущим требованиям.

В совокупности эти четыре аналитических шага образуют динамическую модель взаимодействий, прослеживаемых между внутригосударственной политикой, взаимоотношениями акторов в государстве и акторов в гражданском обществе и ростом, стагнацией или свертыванием социальных пособий и льгот. Данная стратегия исторична в том плане, что эффекты, вытекающие из интересов и потенциала как различных носителей власти, так и тех, кто предъявляет им свои требования, отличаются в зависимости от того, как со временем изменяются действия, потенциал и структурные отношения всех остальных акторов.

Подход Манна весьма отличается от подхода Пивен и Кловарда (Piven and Cloward, 1971), с которыми мы познакомились в третьей главе. На их взгляд, интересы и требования бедняков по большей части неизменны, а ответы государства на нарушение порядка демонстрируют устойчивость во времени. Их цель — осветить тему социального обеспечения, и они не занимаются хоть сколь-нибудь глубоким изучением вопроса о том, как создание системы социального обеспечения изменяет государство. Они не рассматривают другие факторы, которые во взаимодействии с протестами и изменениями, затрагивающими выделяемые правитель-

ством социальные пособия, могут сказаться на более обширном ландшафте власти и социальных отношений. В результате Пивен и Кловард неспособны осветить различия между программами, учрежденными американским государством в 1930-х и 1960-х годах, а другие ученые не в состоянии установить корреляцию между уровнем протестов рабочих или бедняков и социальными льготами и пособиями в других странах (Skocpol and Amenta, 1986).

Социальные пособия и льготы — это не просто ответ элит на всплески народных требований. Точнее говоря, социальные программы создаются в результате сложных взаимодействий, отражающих сложившиеся в историческом процессе интересы и потенциалы различных носителей власти. Нам нужно разобраться, каково совокупное действие этих потенциалов и интересов в каждом конкретном месте и в каждый конкретный момент времени.

И все же не следует терять надежды и считать, что индивидуальные особенности каждого случая лишают нас возможности отыскать закономерности исторического изменения. Геста Эспинг-Андерсен (Esping-Andersen, 1990) предлагает модель, с помощью которой историческая социология может конструировать причинные объяснения различий, наблюдаемых в социальной политике разных стран. В поле зрения Эспинг-Андерсена находятся носители власти и массовые группы, вовлеченные в политический процесс в восемнадцати богатых индустриализованных обществах в Европе, Северной Америке и Азии. Его заботит объяснение того, как в XX веке страны оказались заперты в одном из трех «режимов государств всеобщего благосостояния». Заметим, что он очень четко формулирует свои вопросы. Для каждой страны Эспинг-Андерсеном установлен какой-то ограниченный отрезок времени, когда принимались программы социального обеспечения, и он приходит к выводу, что после своего введения формально они практически не меняются, даже

если объем социальных гарантий растет (или же сокращается, как в последние годы).

Следуя этому выводу, Эспинг-Андерсен сосредотачивает свой анализ на той политической констелляции, которая существовала в каждой стране, когда в них происходило формирование социальной политики. В каждом типе режима государства всеобщего благосостояния он выявляет его особые политические альянсы. В «консервативных» странах мощные и относительно автономные государственные элиты, зачастую созданные еще при абсолютизме, вступают в союз с религиозными организациями, чтобы создать финансируемые государством программы, которые нередко администрируются через церкви и другие существующие корпоративистские организации. Церкви играют ключевую роль, поскольку они расшатывают те альянсы рабочих и крестьян, которые победили капиталистическую оппозицию в странах, создавших социально-демократические режимы. В либеральных странах (таких как США, Британия и Япония) не было ни сильного государства, ни стойкого альянса рабочих и крестьян, и поэтому от правительства они получили фрагментированные программы с проверкой на нуждаемость в сочетании с частными пенсиями и планами медицинского страхования.

В поле зрения Эспинг-Андерсена находятся типы носителей власти, но он не проводит того формального разграничения типов власти, которое есть у Манна. При этом он подробно рассматривает институты, которые находятся под контролем каждого отдельного типа носителей власти и существующих в гражданском обществе групп (особенно крестьян, рабочих, членов церкви). В работе Эспинг-Андерсена наиболее ценны два момента: его способность установить исторические моменты, когда группы смогли предпринять эффективные действия, приведшие к появлению социальной политики, и его способность обнаружить причинную связь между формой и содержанием этой политики и (1) характери-

стиками акторов, требовавших предоставления социальных гарантий или предоставлявших их, (2) структурами альянсов у политических антагонистов и (3) институтами, с помощью которых происходила мобилизация антагонистов и посредством которых в конечном счете и администрировались пособия и льготы. Его метод позволяет нам также увидеть, почему соответствующая политика оказалась столь устойчивой и после завершения формирования различных режимов государства всеобщего благосостояния. Подход Эспинг-Андерсена аналогичен тому, что делает Пейдж (Paige, 1997), когда объясняет, почему случай Коста-Рики, создавшей развитую систему социального обеспечения (которая обсуждалась в третьей главе), был уникален для Центральной Америки. Пейдж выделяет тех акторов, которые трансформировали коста-риканское государство, а затем показывает, как новая структура государства стабилизировала политическую жизнь, ограничив возможности каждого класса и государственной элиты придерживаться курса на дальнейшую трансформацию. Подобным же образом Хаггард и Кауфман (Haggard and Kaufman, 2008) устанавливают коалиции элит и классов, создавшие в Латинской Америке, Восточной Европе и Восточной Азии режимы социального обеспечения, схожие с режимами в трех типах Эспинг-Андерсена.

Аналитическую силу работе Эспинг-Андерсена придает то обстоятельство, что он рассматривает государство всеобщего благосостояния в целом и приводит доводы в пользу того, что весь комплекс политической действительности какого-либо государства производит некий режим социального обеспечения, которым и вырабатываются программы по всем основным направлениям, включая пенсии по возрасту, потери трудоспособности, здравоохранение и уход за детьми. Скочпол и ее соратники, равно как и втянувшие ее в дебаты критики, берут на вооружение иную стратегию, изучая

какое-то одно направление социального обеспечения (пенсии по возрасту или гарантированное государством медицинское обслуживание) и пытаюсь осветить хронологические различия становления социальной политики в разных странах.

Дебаты в отношении пенсий по возрасту показывают, что можно сделать, если сосредоточиться на хронологии. (Вот ключевые статьи по этим дебатам, в порядке публикации: Orloff and Skocpol, 1984; Quadagno, 1984; Skocpol and Amenta, 1985; Quadagno, 1985; Domhoff, 1986; Quadagno, 1986; Jenkins and Brents, 1989.) Орлофф и Скочпол задаются вопросом, почему в Британии пенсии по возрасту были введены на тридцать лет раньше, чем в США. Они полагают, что все дело в потенциале этих двух государств администрировать — или представлять подобными администраторами в глазах общественности — национальную пенсионную программу без какой-либо политической предвзятости или коррупции. Они приходят к заключению, что более ранняя хронология отражает больший государственный потенциал. Куаданьо же вместо этого утверждает, что Великая депрессия создала классовую мобилизацию, а также вызвала размежевания среди капиталистов, что сделало возможным принятие Закона о социальном страховании. Куаданьо мало что может сказать о Британии; она сосредоточена на США и оставляет открытым вопрос, какие макрособытия (если они были вообще) видоизменили британскую политику, сделав возможным принятие закона о пенсиях по возрасту. В центре последующего обмена аргументами между Скочпол и Куаданьо и другими участниками полемики стоит вопрос о том, в какой мере «Новый курс» вообще и социальное страхование в частности были поддержаны значительной группой американских капиталистов. Иначе говоря, сумели ли государственные элиты создать данную программу, опираясь на собственные силы, или же они привлекли на свою сторону некапиталистов, мобилизованных в протестные движе-

ния, или они сделали это при участии Демократической партии?

Эти дебаты вокруг социального страхования продвинулись вперед, стоило лишь их участникам показать, как усилились позиции акторов внутри государства благодаря налаживанию идеологических, политических и экономических связей с группами в гражданском обществе. Ограничивает же их общая неспособность показать, как государственная элита и соответствующая государственная политика сказались на социальных отношениях в гражданском обществе. Огромный вклад Сомерс состоял в том, что она представила ясную картину этого взаимодействия, двусторонней причинно-следственной связи между государством и гражданским обществом. Подобным же образом концептуальный каркас Манна изначально предназначен именно для того, чтобы показать, как со временем государство и гражданское общество влияют друг на друга и друг друга переупорядочивают.

Ограниченность подходов Скочпол и Куаданьо к теме социальной защиты по большей части обусловлена их усилиями объяснить какой-либо отдельно взятый эпизод социальной политики вместо того, чтобы представить долгосрочный нарратив политических изменений в США. Изъяны их работы, посвященной социальному страхованию, отходят на задний план, когда они обращаются к рассмотрению государственной политики в области здравоохранения. Поскольку целью Скочпол и Куаданьо является объяснение отсутствия инноваций в социальной политике (беспримерная неудача США с созданием национальной системы здравоохранения, даже несмотря на то, что такие системы существуют уже несколько десятилетий во всех остальных богатых странах), а не проведение законопроекта, они вынуждены держать в поле зрения долгосрочные политические процессы. Хотя их анализы и разнятся, Скочпол (Skocpol, 1996) и Куаданьо (Quadagno, 2004) едины



в том, что недостаточный характер национальной системы здравоохранения в США, даже с принятыми федеральными программами (прежде всего, Medicare и Medicaid, введенными в 1965 году и с тех пор расширенными и пересмотренными), реконфигурировал экономику медицинской отрасли вместе с политическими кругами и альянсами групп, которые мобилизовались для создания или блокирования национального здравоохранения. Частные страховые фирмы смогли заблокировать клинтоновский план здравоохранения, а потом выработать и помочь провести законопроект Обамы (Jacobs and Skocpol, 2010) благодаря ряду контингентных событий, трансформировавших отношения между врачами, больницами и страховыми компаниями и тем самым сформировавших интересы каждой из этих групп и их способность действовать политически самостоятельно или в альянсе с другими.

Моника Прасад (Prasad, 2006) использует схожий макроэкономический подход для объяснения неолиберальной политики, принятой в США, Британии, Франции и Германии. Она стремится объяснить, почему каждая страна приняла ту, а не другую политику. В отличие от Скочпол и Куаданьо, Прасад не пытается объяснить американскую уникальность. Нет у нее и упрощенного восприятия неолиберализма как приливной волны, накрывающей собой прогрессивные силы во всех странах. Вместо этого она занимается строгим сравнительно-историческим анализом, сосредотачиваясь на «эпизодах социальной политики» — моментах, когда в стране утверждается специфическая законотворческая или регулятивная политика. Прасад спрашивает, что предшествовало каждому конкретному эпизоду, сделавшему возможной неолиберальную инициативу в этой стране, и как обстояло дело с политическим балансом сил и правительственной структурой, благодаря которым подобные шаги были блокированы в других странах. Например, почему сокращение налогов законодательно

вводилось в США и Британии, а не во Франции или Германии, тогда как приватизация государственных фирм происходила во Франции и Британии, а не в Германии или США?

Прасад смотрит, как в каждой стране выстраивались связи между государственными чиновниками и государственными предприятиями, с одной стороны, и частными организациями и группами интересов в гражданском обществе — с другой. Этим обеспечивается базис для установления моментов, когда данные альянсы раскалывались, создавая для правительственных чиновников, партий и частных групп интересов (или, как в США, политических предпринимателей, имеющих лишь слабые связи с партиями) шансы протиснуться вперед с неолиберальными инициативами.

Итак, изменения (или противодействие изменениям) невозможно понять ни в терминах потенциала государства, ни в терминах власти и мобилизации групп интересов. Вместо этого Прасад держит в поле зрения весь комплекс политических сил и отношений, чтобы найти зоны изменения, происходящего в конкретные моменты. Благодаря этому она способна объяснить, почему в каждой стране было лишь несколько эпизодов неолиберального изменения социальной политики и почему от страны к стране эта политика так сильно различалась, несмотря на возрастающее идеологическое влияние неолиберальных идей во всех четырех странах.

Государства не являются унитарными организациями; не существует и одной единственной государственной элиты. Лучшие образцы исторической социологии государства позволяют нам увидеть, как со временем меняются границы между государством и гражданским обществом и как группы обретают единство и самоидентичность и осмысляют и переосмысляют свои интересы и союзников. Все эти вещи контингентны, и контингентность можно увидеть в межстрановых сравнениях и в исследованиях, посвященных какой-то одной

## ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ?

стране (как, например, у Сомерс). Цель исторических социологов состоит не только в том, чтобы проследить цепь событий, кульминацией которых становится новая социальная политика (или официальная отмена либо сокращение расходов на подобную политику), права гражданства или войны и декларации независимости, но и в том, чтобы увидеть весь социальный ландшафт, в котором акторы действуют одновременно в рамках и за рамками государства и в котором границы между этими двумя состояниями сложны и подвижны.

## ГЛАВА 6. НЕРАВЕНСТВО

Господствующий в социологии подход к неравенству сосредоточен на индивидах и пытается выявить некие персональные характеристики (социальное происхождение, раса, баллы в тестах IQ, уровень образования), которыми могут объясняться различия в доходах или «социально-экономическом статусе». Некоторые исторические социологи и историки берут на вооружение ту же методологию, проводя исследования механизма «достижения статуса» в обществах прошлого (наиболее проработанными примерами служат: Thernstrom, 1964; Wrightson and Levine, 1979; Levine and Wrightson, 1991). И все же при этом подходе — независимо от того, обращен ли он к современности или прошлому, — не ставится вопрос о возникновении множества иерархических позиций, в которых индивиду отведено определенное место. Кроме того, — и это критический недочет — фиксация на индивидах не позволяет объяснить или даже просто отследить изменения, связанные с общей структурой стратификации. У кого-то из людей дела в конце концов пойдут лучше, чем у большинства, у кого-то наоборот. Методы и данные, относящиеся к достижению статуса, уместны и полезны в том случае, если мы хотим понять, почему конкретный индивид в конечном итоге занимает какую-то конкретную ступень социальной лестницы. Если же, однако, мы хотим понять, почему в определенные моменты истории эти ступеньки социальной лестницы отстоят друг от друга дальше или почему в каком-то обществе увеличивается или уменьшается доля населения на какой-либо конкретной ступеньке, или установить эти моменты и причины изменения, то фиксация на индивидуальных характеристиках по большей части ничего не дает. Чтобы вскрыть

динамику исторического изменения, нам нужно вместо этого заняться межстрановыми и межвременными сравнениями или разбором отдельных случаев с привлечением теоретических средств.

Еще один критический взгляд на социологию «достижения статуса» предлагается в книге Чарльза Тилли «Продолжительное неравенство» (Tilly, 1998). Он отмечает, что «крупное, значительное неравенство в преимуществах между людьми соответствует главным образом таким категориальным различиям, как “черный/белый”, “мужчина/женщина”, “гражданин страны/иностранец” или “мусульманин/иудей”, а не индивидуальным различиям личностных свойств, склонностей или совершенств» (р. 7). Тилли хвалит «индивидуалистический анализ» за конкретизацию «конечного результата», то есть степени неравенства, но при этом отмечает, что исследователи, работающие в рамках этого подхода «все же полагаются на неясные, неправдоподобные или недостаточные причинные механизмы, основание которых лежит в индивидуальном опыте или действии» (р. 21). Вместо этого он ратует за отыскание сходств в тех процессах, которыми создается и поддерживается основывающееся на различных признаках (раса, гендер, класс, этническая принадлежность, родство) неравенство. Тилли выявляет, соответственно, четыре механизма: «эксплуатация, осуществляемая элитой, аккумуляция возможностей (opportunity hoarding) неэлитой, копирование (emulation) и адаптация» (р. 26). Он утверждает: «Люди, создающие или поддерживающие категориальное неравенство средствами этих четырех базовых механизмов, редко стремятся создать неравенство как таковое. Вместо этого, устанавливая категориально неравный доступ к неким ценным результатам, они решают другие организационные проблемы» (р. 11).

Модель Тилли показывает, как эти четыре механизма усиливают, модифицируют или временами подрывают друг друга, и именно в этом и состоит ее историч-

ность. Соответственно, степень и продолжительность неравенства определяется не мерой предубеждения какой-либо одной группы, но мерой взаимодействия этих четырех механизмов, усугубляющего их эффект. В качестве одного из главных примеров Тилли использует Южную Африку. Он показывает, как апартеид стал результатом сочетания существующей системы эксплуатации, сконцентрированной прежде всего в горнодобывающей промышленности, с аккумулярованием возможностей белой неэлитой, а затем был скопирован в других секторах экономики и государственных структурах. Тилли выдвигает антикультуралистский аргумент: контингентные события создали крайнее неравенство, которое затем привело к тому, что белые южноафриканцы усвоили расистские убеждения и модели поведения. Не культура расизма была причиной апартеида. Вместо этого расизм укреплялся и поддерживался структурой неравенства, обеспечившей политическую поддержку институционализации официального апартеида.

Аналитическая методология Тилли может быть сопоставлена с методологией Энтони Маркса (Marx, 1998), политолога, который сравнивает различные расовые категории, созданные в XIX–XX веках в США, Южной Африке и Бразилии. На взгляд Маркса, возникающие во всех трех случаях национальные государства являются ключевой причинной силой, действовавшей при создании системы расового неравенства в каждой из стран: американские и южноафриканские государственные элиты использовали расизм, чтобы солидаризировать белую неэлиту, представители которой конфликтовали друг с другом, тогда как бразильское государство не создало расовую категоризацию, потому что у него не было необходимости возвращать солидарность белых, так как у белых уже была гармония (или по крайней мере отсутствовал явный конфликт). Поскольку, объясняя расовое неравенство, Маркс выявляет всего лишь один механизм,

он не способен осветить появление более поздних изменений в неравенстве между белыми и черными. Вместо этого он утверждает, что, будучи однажды введенной, эта модель расовых отношений предопределила степень мобилизации чернокожих в этих трех странах в последующие десятилетия<sup>1</sup>.

То, что утрачено в анализе Маркса, как раз и стало возможным в анализе Тилли: способность проследить силу, приводящую в движение двусторонние конфликты элит и неэлит в рамках господствующей — белой — расы, а потом использовать эту движущую силу для освещения изменений, со временем происходящих в межрасовом неравенстве. Модель Тилли также лучше способна осветить обстоятельства времени и места мобилизации эксплуатируемых (как, например, черных в США и Южной Африке) против тех, кто их эксплуатирует или аккумулирует за их счет благоприятные возможности. Она же обеспечивает лучший базис для уточнения того, как сопротивление угнетенных сказывается на механизмах порождения неравенства. Те эксплуататоры, которым бросают вызов угнетенные, в реальности не являются некой сплоченной группой. Сопротивление эксплуатируемых и исключенных влияет на отношения среди тех, кто занимает более высокое положение, порождая динамику и последствия, которых никто из антагонистов зачастую не желал или не предвидел.

Концептуальный каркас, на основе которого Тилли анализирует феномен сопротивления неравенству, также сложнее, чем у Маркса. Согласно анализу Тилли, сопротивление возвращено на самих тех категоризациях (раса, религия, гендер и т. д.), которые используются господствующей группой для идентификации тех, кого они эксплуатируют и исключают. Например, в Южной Африке черные начали мыслить себя и самоорганизовываться

---

<sup>1</sup> Расширенную критику Маркса предлагает Лавман (Love-man, 1999).

в терминах расы по мере того, как государство и белые в гражданском обществе все больше эксплуатировали их, используя именно эти термины. Изменение степени и формы сопротивления выводится в модели Тилли из организации эксплуатации и исключения, а не из тяжести неравенства, как у Маркса. В этом отношении подход Тилли сравним с сомерсовским анализом мобилизации ради гражданских прав, тогда как анализ Маркса ближе к картине социальных движений в изложении Пивен и Кловарда (мы разбирали ее в предыдущей главе). Модель Тилли также обеспечивает базис для анализа того, как на будущем сопротивлении сказываются уступки эксплуатируемым группам (например, пожалование в Британии прав гражданства католикам), почему в одних случаях они могут обострить политическое действие эксплуатируемых групп (например, американских черных в эпоху Гражданской войны) или подтолкнуть его в новых направлениях (например, в сторону ирландского национализма после получения прав британского гражданства), а в других уступки действительно ведут к успокоению оппозиции. Ни один из этих исходов не может быть предсказан или объяснен измерением неравенства параметрами дохода, богатства, законных прав или социального статуса.

Сам Тилли так никогда и не написал основательный разбор какого-то отдельного случая или сравнительную работу, где использовались бы категории и способ анализа, изложенные им в книге «Продолжительное неравенство». Также, вопреки тому что в 2000 году «Продолжительное неравенство» завоевало награду Американской социологической ассоциации за выдающуюся научную публикацию (то есть была признана лучшей книгой), эта работа не вдохновила ученых воспользоваться ее концептуальным каркасом в исследованиях какой-либо темы или при попытке решить какую-либо проблему. Зайдите на сайт Google Scholar и окиньте взглядом тех авторов, которые цитируют эту книгу. Большинство из них упоминают



Тилли походя или отмечают, как его понятия схожи с теми, которые были разработаны ими самостоятельно или выведены из других теоретических работ. Работы же Тилли, посвященные социальным движениям и образованию государства, напротив, послужили импульсом для обширной и насыщенной научной деятельности многочисленных учеников и почитателей. Этот разрыв в исследованиях разочаровывает, но также и открывает для будущих ученых плодотворную повестку.

К сожалению, в исследованиях неравенства по-прежнему преобладает индивидуалистический акцент. Посмотрим теперь, как этот акцент исказил и ограничил усилия социологов, нацеленные на объяснение резкого роста неравенства доходов и богатства в США в последние десятилетия. Затем мы обратимся к ряду исторических социологов, добившихся успеха в отслеживании и объяснении происходивших с течением времени сдвигов в картине неравенства в различные эпохи и в различных частях света.

## НЕРАВЕНСТВО

### В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Очевидно, что индивиды всерьез обеспокоены своими шансами на мобильность и тем, займут ли они более высокое или низкое положение по сравнению с положением их родителей или уровнем, на котором они находятся сегодня. Большинство из нас хочет знать, в какой мере наши собственные усилия, в особенности лучшее образование, помогут нам поднять наши пожизненные доходы или социальный престиж, а в какой мере прав писатель Джимми Бреслин (Breslin, 1990, p. 103), написавший, что «по большей части американский успех начинается в руках акушера: если он извлекает вас из женщины, которая удачно вышла замуж, о вашем будущем можно не беспокоиться».

Необязательно, что наши индивидуальные шансы поведают нам многое о природе нашего общества, и уж совсем мало они расскажут о том, изменяется ли каким-либо значительным образом наше общество как целое. Одна крайность состоит в том, что мы могли бы жить в обществе с «многочисленными изменениями на индивидуальном уровне, не затрагивающими, однако, ни сам макропаттерн социальных отношений, ни соответствующие совокупные образования (изменение внутри неизменяющихся структур)» (Breiger, 1990, p. 9). В таком обществе для индивидов большое значение имеет, движутся ли они вверх или вниз, однако общий уровень неравенства и даже дистанция между стратами могут оставаться неизменными в течение длительных периодов времени. Как мы увидим ниже, эту закономерность зачастую демонстрировали крестьянские общины.

Другая крайность состоит в том, что в относительном положении индивидов в обществе могут происходить небольшие изменения (или же совсем никаких), тогда как разрыв между стратами будет значительно сужаться или расширяться. Данная закономерность верна для Соединенных Штатов начала XXI века. Начиная с 1980 года в США резко спала межпоколенческая мобильность (Aaronson and Mazumder, 2007), в то же время начиная с 1970-х годов заметно повысился уровень неравенства (Piketty and Saez, 2007–2012). Иными словами, сегодняшние американцы с большей вероятностью, нежели американцы сорокалетней давности или сегодняшние европейцы, из десятилетия в десятилетие и из поколения в поколение остаются в той же самой страте. Экономические последствия пребывания в каждой страте за эти годы, однако же, заметно изменились. Доля национального дохода, приходящаяся на один процент американцев с наибольшими доходами, выросла с отметки менее 9% в 1976 году до 23,5% в 2007 году, сравнявшись с предыдущим пиковым показателем в 1928 году, и этот прирост наступил всецело за счет нижних 90% (Ibid., table A3).

Изучение индивидуальных жизненных шансов и мобильности не вскрывает этих изменений; сделать это может только исследование распределения доходов и богатства в масштабе десятилетий. Показательно, что Пикетти и Саес, два экономиста, выполнившие эту исследовательскую работу, являются французами (хотя в настоящее время Саес преподает в США). Не так уж много американских экономистов или социологов, включая тех ученых, за плечами которых десятилетия исследований в области «достижения статуса», считают эту тему достойной своего внимания, и никто не изучил ее с тщательностью Пикетти и Саеса<sup>1</sup>.

Историко-социологический анализ необходим, если мы хотим объяснить те изменения в распределении богатства, задокументированные Пикетти и Саесом. Должны быть заданы следующие вопросы. Как получается, что богатые все богатеют и богатеют? Что изменилось по сравнению с 1945–1973 годами, когда доходы нижних 99% повышались быстрее, чем у 1% наиболее богатых? Как с тех пор одному проценту наиболее богатых удалось обогатиться за счет всех остальных, доходы и акти-

---

<sup>1</sup> Лучший обзор печального состояния американских исследований богатства дан в работе Кейстер и Моллер (Keister and Moller, 2000). Кейстер (Keister, 2000, 2005) сама является американским социологом, занимавшимся изучением распределения богатства в США и показавшим, что распределение богатства гораздо более неравномерно, чем распределение доходов. Но она уделала основное внимание различиям среди средних слоев, а не несколькими процентам наиболее богатого населения, которому принадлежит основной объем приносящего доход богатства (в противоположность жилым домам, автомобилям и предметам домашнего обихода). В результате, ее больше всего интересует выявление индивидуальных характеристик, таких как образование, культура, раса и гендер, которые коррелируют с богатством, а не выявление тех социальных сил, которые начиная с 1970-х годов привели к увеличению концентрации благосостояния.

вы которых почти не выросли за минувшие сорок лет? Чтобы ответить на эти вопросы, данные о неравенстве необходимо поместить в контекст политических и экономических изменений, сделав изучение неравенства частью более широкой социологии изменений. Такова повестка исследовательской деятельности, ждущая социологов, настроенных на серьезную теоретическую и историческую работу. Эта повестка может стать основой для проведения сравнительных исследований, для выяснения того, почему мало какая другая страна может сравниться с США по степени концентрации богатства, во многих же других странах эта концентрация не так велика, а некоторым и вовсе удалось избежать этого сдвига.

#### КАК ИЗУЧАТЬ НЕРАВЕНСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ ПЛАНЕ

Историческая социология может показать, как за очень долгий срок по всему миру и в отдельных странах изменилась общая структура неравенства. Также она способна установить моменты серьезных изменений в неравенстве и тем самым сосредоточить внимание на тех причинных последовательностях, кульминацией которых становится заметное увеличение или уменьшение неравенства. Таким образом, исторические социологи, занимающиеся неравенством, могут придерживаться той же стратегии, которая, как мы видели в предыдущих главах, использовалась для объяснения причин революций и социальных движений, образования государства, истоков капитализма и других фундаментальных социальных изменений, когда сначала устанавливался сам момент значимого изменения, а затем начинался поиск причин в периоде, предшествовавшем данному изменению.

Нам также нужно иметь в виду, что деньги и престиж — это не единственные параметры неравенства.

Как указывает Йоран Терборн (Therborn, 2006), продолжительность жизни, права человека на свободу и уважение столь же фундаментальны с точки зрения насыщенности и смысла человеческой жизни, как и обладание материальными благами. Он утверждает, что у каждого из этих трех параметров есть своя собственная динамика. Например, очевидно, что между доходом и продолжительностью жизни существует какая-то связь; впрочем, Терборн замечает, что нам нужно быть особенно внимательными к временам и местам, когда и где один из этих параметров расходится с остальными или соотносится с особыми причинными силами. По мнению Терборна, такие расхождения наиболее вероятны не столько внутри стран, сколько между ними. Огромный разрыв в продолжительности жизни, открывшийся с введением государственного здравоохранения и с получением доступа к продовольственному изобилию в богатых (но только не в бедных) странах в XIX веке, значительно сузился после того, как государственное здравоохранение пришло и в другие страны мира, но в последние десятилетия в Британии и еще некоторых богатых странах разрыв в уровне смертности между офисными работниками и работниками физического труда заметно вырос (Therborn, 2006, p. 20–22, 35–36; также см.: Sen, 1992). Анализ Терборна выполнен на макроскопическом уровне, и он не занимается подробным исследованием того, как производится неравенство в какой-либо локальной точке. Выявляемые им причинные силы действуют в национальном или глобальном масштабе. Польза его эссе не столько в том, что в нем действительно предлагаются решения, сколько в том, что оно обостряет нашу восприимчивость к проблемам, которые могут быть решены посредством исторического анализа.

Историческим социологам, занимающимся изучением неравенства, необходимо преодолеть фундаментальные проблемы, относящиеся к концепциям и данным, и найти способ адаптировать причинные модели

к самым разным системам стратификации, существовавшим в обществах прошлого, а в некоторых странах мира существующим и до сих пор. У нас мало данных о доходах и богатстве до XX столетия, а те, что имеются, содержат большие пробелы. Как мы увидим, историческому изучению стратификации часто приходится прибегать к экстраполяции на основе локальных и фрагментарных данных<sup>1</sup>. В любом случае трудно сравнивать данные о современности и данные об историческом прошлом, поскольку между тем, как доходы и богатство накапливались в большинстве исторических обществ, и тем, как доходы и богатство понимаются в современных обществах, существует два фундаментальных различия. Во-первых, до наступления капитализма собственность не была частной в том смысле, в каком мы понимаем ее сегодня. Феодальное поместье не принадлежало кому-то одному, и считать его частной собственностью феодала (или считать крестьянское хозяйство собственностью той семьи, которая на ней работала) — значит противоречить действительности того, что у различных семей или корпоративных образований

---

<sup>1</sup> Бирман и Дин (Bearman and Deane, 1992), чью работу мы обсудим ниже, показывают проблемы, связанные с тем, как другие ученые работали с историческими данными о доходах и профессиональных занятиях. Наиболее серьезные попытки проследить изменения в распределении доходов и богатства в исторических обществах предпринимались экономистами, а не социологами или историками. Упоминания достойны такие примеры, как Уильямсон и Линдерт (Williamson and Lindert, 1980), представившие данные по распределению доходов и богатства в США начиная с колониального периода и кончая XX веком, Херлихи и Клапиш-Цубер (Herlihy and Klapisch-Zuber, 1978), историки, анализирующие богатство флорентийцев XIV века, и Миланович (Milanovic, 2011), экономист, давший широкий обзор неравенства в человеческой истории и предложивший разнообразные критерии для сравнения степени неравенства на протяжении тысячелетий.

имелись взаимопересекающиеся права на использование земли и земельный доход. Где-то в других местах земля контролировалась племенами, чьи вожди владели ею не больше, чем президент США владеет Пентагоном или Папа Римский Собором св. Петра. Во-вторых, еще несколько сот лет назад именно семьи, а не индивиды получали доход и держали собственность (Adams, 2005; более подробно ее аргумент мы разберем в следующей главе о гендере). Семья ограничивала реальную способность индивида расходовать или отчуждать семейную собственность и направляла усилия каждого ее члена на зарабатывание доходов или накопление богатства.

### НЕРАВЕНСТВО СРЕДИ КРЕСТЬЯН

Что же делать историческим социологам, желающим заниматься изучением неравенства до XX века, чтобы преодолеть ограниченность данных и трудности сравнения разных систем собственности?

Во-первых, они могут представить динамику неравенства в разных социальных системах. Модель того, как это можно сделать, предлагает Теодор Шанин (Shanin, 1972). Он проанализировал изменения размеров крестьянских землевладений в России за несколько десятилетий до революции 1917 года. Россия довольно долго оставалась преимущественно крестьянским обществом, и к началу XX века в ней уже существовал достаточно полный реестр землевладений, и именно это позволило Шанину предложить лучшее на сегодняшний день понимание крестьянской мобильности; кстати, в конце концов именно крестьянская мобильность помогает понять, как подавляющее большинство семей обретали и теряли свое положение в большинстве человеческих обществ на протяжении большей части человеческой истории.

Шанин приходит к выводу, что браки, количество детей и экономические неурядицы порождали циклическую мобильность. Дети из относительно благополучных в материальном отношении крестьянских хозяйств отделялись и создавали новые семьи с меньшими наделами, тогда как другим семьям удавалось получить наделы покрупнее. Как бы то ни было, Шанин приходит к выводу, что крестьянские семьи не были всего лишь пассивными жертвами демографических и экономических сил. Семьи объединялись в общины, чья активность проявлялась в таком распределении земли, при котором землепользование становилось более эгалитарным, а запрос дворян на более высокую ренту и запрос государства на налоги встречал отпор (причем в то же самое время капиталистические рынки создавали новые источники неравенства среди крестьян). К революции 1917 года эти движущие силы были трансформированы. Общины взяли под свою ответственность перераспределение земель дворян и богатых крестьян, усиливая середняков и изолируя кулаков. Это разделение среди крестьян подорвало сопротивление требованиям сталинской коллективизации.

Распределение богатства сказывается на распределении власти и наоборот. В столь общей формулировке этот тезис мог бы быть выдвинут, и действительно выдвигался, Марксом, Вебером и другими многочисленными социологами. Как бы то ни было, цель состоит в том, чтобы развивать теории, которые могут объяснить динамику взаимодействия между богатством и властью. Шанин выполняет эту задачу на материале России до и после революции 1917 года, показывая взаимодействие между богатством и властью на уровне крестьянских деревень сначала при царском, а затем и при советском режиме. Подобным же образом Ребекка Жан Эмай (Emigh, 2009) показывает, как экономические и политические вмешательства флорентийских дворян и купцов сказались на распределении крестьянских землевладений



и на локальных властных отношениях в сельских окрестностях ренессансной Флоренции.

Целью Эмай не является объяснение флорентийской политической жизни. Вместо этого она хочет объяснить, почему даже несмотря на то, что условия для капиталистического развития казались зрелыми, экономическое развитие в тосканской сельской местности было преждевременно прервано. Проникновение флорентийцев в сельские регионы, частично сформировавшее их капиталистические стратегии, парадоксальным образом подорвало дальнейшее, распространяющееся на еще более широкие области капиталистическое развитие, потому что оно отстранило сельских жителей (а в то время они составляли большинство населения) от участия в капиталистических рынках. Они были гораздо беднее флорентийцев и, соответственно, не смогли эффективно конкурировать с ними на рынках. Тосканские мелкие землепользователи, подобно крестьянам Шанина, были стратифицированы демографическими силами. Особенности демографии привязывали их к локальным рынкам в сельских областях, поскольку, чтобы распорядиться сельскохозяйственной продукцией своих хозяйств в свете своих собственных демографических обстоятельств (таких как размер семьи и возраст ее членов), они пользовались локальными рынками и практиками передачи собственности. Но когда потом на эти локальные рынки пришли флорентийские капиталисты и стали скупать земли, они разрушили локальные институты, выдавливая мелких землепользователей с рынков вместо того, чтобы интенсифицировать их участие в них. Мелкие землепользователи попросту не могли конкурировать с флорентийскими богачами на земельном рынке, поэтому последние покупкой земли у крестьян сумели консолидировать землевладения, чем на зачаточной стадии был блокирован переход к капитализму в сельской Тоскане. В свою очередь это изменило систему стратификации. Стратификация тосканских издольщи-

ков стала больше зависеть от их сетевых связей с землевладельцами, нежели от демографических сил.

Подобно Шанину, Эмай разбирает один отдельно взятый случай. Впрочем, по концептуальному замыслу ее работа является сравнительной. Среди исторических социологов Эмай хорошо известна благодаря разработке «методологии отдельных случаев (кейсов)» (case methodology) (Emigh, 1997a), в которой, чтобы оспорить существующие модели и предложить пересмотренные варианты или новые теории, используются отдельно взятые случаи, противоречащие предсказанным исходам. Шанин, хотя он и не излагает это подобным образом, также пытается объяснить нечто негативное, а именно отсутствие решительного сопротивления советской коллективизации. И для Шанина, и для Эмай первым шагом в их анализе является построение модели, описывающей динамику неравенства и мобильности, — в русских крестьянских общинах и у тосканских мелких землевладельцев и издольщиков соответственно. Затем с помощью этих моделей можно объяснить негативные исходы: отсутствие капиталистического развития в Тоскане и отсутствие решительного кулацкого сопротивления экспроприации их земель советской властью.

Урок, который мы можем извлечь из этих немало важных книг Шанина и Эмай, состоит в том, что, если мы действительно хотим увидеть, как производится неравенство и как оно со временем изменяется, нам нужно полностью погрузиться в историческую специфику отдельного случая (или нескольких множественных случаев). Между властью и богатством никогда не существует простого отношения. Напротив, структура каждого общества формирует это отношение, которое в свою очередь опосредуется демографией, экономическими циклами, а часто и другими движущими силами. Общие теории власти, возможно, и могли бы сделать нас восприимчивыми к факторам, которые нам надо разобрать, но они не могут быть автоматически использованы

для проникновения в существо взаимодействия власти и богатства в конкретное время и в конкретном месте.

Для создания полной картины неравенства в аграрных обществах недостаточно также и одного изучения крестьян. Неравенство варьируется не только между обществами и историческими эпохами, но и между стратами. Вот почему Эмай анализирует закономерности накопления богатства не только у крестьян, но также и у флорентийских элит, поскольку вместе эти две системы стратификации помогают объяснить сворачивание тосканского капитализма. Таким образом, чтобы понять динамику любого крестьянского общества, нам, помимо 90% населения, состоявшего из крестьян, необходимо исследовать и небольшой процент аристократов и высших церковных иерархов. Конечно, процент крестьян и аристократов в разных обществах был различным. Тем не менее до тех пор пока не развились крупномасштабные рынки, почти во всех обществах численность земледельцев (которые могли быть рабами, крестьянами или независимыми хозяевами) приближалась к 90%, тогда как элита насчитывала от 1 до 3%, а остальное население, состоявшее из менее знатных аристократов, чиновников, купцов, кустарей и разного рода протопрофессионалов (таких как переписчики, доктора и учителя), составляло около 10% или даже меньше. Эти средние страты стали играть значимую роль только в последние несколько столетий. В заключительной части этой главы мы разберем, как социологи изучают подъем и динамику этого среднего класса.

## ЭЛИТЫ И НЕРАВЕНСТВО

Практически не существует исторической социологии, в поле зрения которой попадает динамика неравенства среди знати. Об этом можно только пожалеть, потому что по уровню богатства и власти между аристократами существовал огромный разброс. Беднейшие дворяне

имели доходы, размер которых в четыре-десять раз превышал доходы состоятельных крестьян, тогда как знатнейшие дворяне и монархи (и высшие религиозные чины) имели доходы, в сотни и десятки тысяч раз превышавшие доходы крестьян. Почти не существует исторических работ, изучающих динамику мобильности среди аристократических семей. Историками написано много исследовательских работ по отдельным дворянским семьям, в которых задокументировано, как эти семьи сколотили или утратили свое богатство, но эти разборы отдельных случаев не использовались для выведения из них широких заключений.

Образцовым — и непривычным — примером служит британский историк Лоуренс Стоун (Stone, 1965; Stone and Stone, 1984), который установил, что политические изменения на национальном уровне (способность английских королей разоружать знатнейших дворян) привели к снижению способности дворян собирать доходы от своих поместий и политических должностей, при одновременном увеличении их обязательств по оказанию гостеприимства представителям их сословия и менее знатным джентльменам, что привело эту элиту к финансовому кризису. Финансовые тяготы аристократов Стоун связывает с их ролью в английской гражданской войне, подобно тому, как Бирман и Дин (Bearman and Deane, 1992) приходят к выводу, что сокращение в Англии начала XVII века благоприятных возможностей для купцов, торговцев и квалифицированных ремесленников радикализовало эти средние страты. Используя тщательную реконструкцию профессиональных занятий отцов и сыновей в Норфолке, Бирман и Дин прослеживают межпоколенческую мобильность, а затем устанавливают связь между изменившимися возможностями и политической преданностью и политическими действиями.

Вместе взятые, стоуновский разбор изменений в аристократической стратификации и исследование Бирманом и Дином мобильности в среднем классе

выявляют механизм, позволяющий объяснить политические мотивации и действия. Они показывают, что блокированная мобильность или спад имели последствия не только для индивидов и семей, находящихся в центре внимания большинства трудов по неравенству, но и для самой национальной политики. В выявлении и прослеживании политических причин неравенства Стоун идет еще дальше.

Норберт Элиас предлагает модель иного рода (Elias, [1969] 1983; Элиас, 2002). Он не приводит никаких количественных данных о богатстве знати или о том, увеличилось ли оно со временем или уменьшилось. Подобно Стоуну, вначале он рассматривает разоружение аристократов королями и превращение их в пассивных нахлебников при королевских дворах. Элиас разбирает те кодексы поведения, которые дворяне вырабатывали при дворах, и обсуждает, как придворные манеры сказывались на поведении в остальном обществе, а также как этими кодексами ограничивалась способность дворян образовывать политические альянсы против монархов. Он подбирает качественные данные таким образом, чтобы они свидетельствовали об обеднении дворян вследствие потери ими политической власти. (Хотя аргументация Стоуна также в основном строится на качественных данных, он попытался собрать и проанализировать количественные данные, которые он мог найти по Англии.) Элиас не стремился отследить изменения, происходившие с неравенством, и прямо переходил от своего тезиса о материальном упадке аристократов к культурным и политическим последствиям данного упадка. Его труд открывает нам глаза на ценность неколичественных данных и культурных свидетельств (об Элиасе мы еще скажем в восьмой главе). Элиас напоминает нам, что мы должны стараться проследить изменения неравенства не только ради них самих, но и потому, что эти изменения могут рассказать нам о том, как они сказываются на потенциальной способ-

ности находящихся в упадке страт контролировать свои социальные отношения и оказывать влияние на общество в целом.

## СРЕДНИЕ КЛАССЫ

Наиболее значимым изменением в стратификации за прошедшие несколько столетий стало громадное увеличение средних страт. Сегодня в большинстве обществ крестьяне/земледельцы являются меньшинством, а в развитых индустриальных обществах — ничтожным меньшинством. Сначала их потеснили наемные работники, а со временем и средние классы, отличительным признаком которых является умеренная степень профессиональной или ремесленной квалификации и/или контроль над своей собственной работой и/или прямой продажей своей собственной продукции или услуг потребителям. Индивидуальная мобильность, рассматриваемая социологами и экономистами, во многих случаях слабо связана с изменениями личных качеств рабочих и является главным образом результатом массового перемещения рабочих мест из сельской местности в города и пригороды и с ферм на фабрики, а затем и в офисы.

Экономист Саймон Кузнец (Kuznets, 1955) утверждал, что в первое время индустриализация и переселение в города увеличивали относительное неравенство: владельцы фабрик получали выгоду от тех низких заработных плат, которые они могли платить прибывающим в города крестьянам, притом что цены на продовольствие и доходы от ведения сельского хозяйства оставались низкими, так как механизация увеличила предложение продовольствия. В дальнейшем неравенство уменьшалось по мере сокращения числа крестьян, готовых мигрировать в города и сбивать существующие зарплаты рабочих. Проблема теории Кузнеца схожа с тем, за что критиковалась теория модернизации

(с этой критикой мы встречались во второй главе): обе теории предлагают один-единственный путь развития и неспособны описать и объяснить — в силу того, что они ее и не признают, — возможность иных исходов. Эти модели отличаются лишь скоростью перехода. По мнению Кузнецца, странам с высоким уровнем неравенства еще только предстоит миновать пик миграции из сельской местности. Его модель не способна объяснить причины увеличения неравенства в промышленно развитых странах, наподобие того, что имеет место в США с 1980-х годов.

Один из способов проникнуть в тот действительный механизм, который генерирует и изменяет неравенство внутри средних классов и относительно элит, состоит в исследовании моментов фундаментальной трансформации. Именно этим занималась Эмай, изучая (неудавшийся) переход к капитализму, и Шанин, изучая переход к социализму. Другим таким же моментом является конец государственного социализма и переход к различным формам рыночного капитализма в Восточной Европе после 1989 года. Плодотворный подход к объяснению изменений в социальных системах и их воздействия на неравенство демонстрируют Иван Селеньи и его соавторы (Eyal, Szelenyi, and Townsley, 1998; King and Szelenyi, 2004).

Селеньи и его коллег интересует объяснение мобильности: они хотят проследить, как в 1980-х и 1990-х годах разные восточноевропейские элиты обретали или теряли доход и социальное положение — как до, так и после смены режима. Также они хотят объяснить, почему внутри каждой страны у одних элит дела шли лучше, чем у других, и соответствующие различия между странами. Как они собирали необходимые данные и строили объяснения?

Во-первых, они составили три списка элит в каждой восточноевропейской стране за годы до и после 1989 года. Один список — это номенклатура периода до 1989 года,

люди, занимавшие посты в правительственных структурах или на государственных предприятиях, которые находились на таком высоком уровне, что для занятия этих постов они нуждались в одобрении «одного из органов Центрального комитета Коммунистической партии» (Eyal, Szelenyi, and Townsley, 1998, p. 201). Второй список — это «культурные и политические элиты» в 1993 году. Это люди, занимавшие высокие посты в посткоммунистических правительствах. Третий список — это экономические элиты, в 1993 году генеральные директора 3000 крупнейших предприятий каждой страны.

Эти списки позволяют Селеньи и соавторам проследить, что произошло с элитами коммунистической эпохи. Сохранили ли они свои посты в новых правительствах и на приватизированных предприятиях или стали членами среднего класса? Второй и третий списки используются для установления характеристик тех, кто поднялся до позиций элиты после 1989 года. Затем Селеньи и соавторы провели опросы по выборкам из всех трех списков.

Эти списки и опросы придают эмпирическую строгость анализу перехода в каждой стране, проведенному Селеньи с соавторами. Они позволяют специфицировать характеристики тех людей, которые возвышались и падали, перемещаясь между средним классом и элитой в каждой стране. Они могли бы воспользоваться этими данными для построения модели достижения статуса, показывающей роль, которую играют образование, социальное происхождение, предыдущая работа, возраст, гендер, этническая принадлежность и другие факторы в детерминировании мобильности. Они и на самом деле приходят к выводу, что эти факторы имели значение для индивидов. Тем не менее характеристики, которые в одних странах способствовали вертикальной мобильности, в других выступали в качестве препятствий, и наоборот.

Как же Селеньи и его коллеги объясняют межстрановые различия в мобильности? Неотъемлемой



составляющей своей модели они делают политические факторы, но делают это даже более тонким и изощренным образом, чем Стоун или Бирман и Дин, которых мы разобрали ранее в этой главе. Селеньи и соавторам необходима более комплексная модель, поскольку они пытаются объяснить различия в нескольких рассматриваемых случаях, тогда как Стоун и Бирман и Дин исследовали только одну Англию. Как бы то ни было, изощренность Селеньи — это больше, чем просто освещение различий среди нескольких случаев; он выявляет причинное взаимодействие между амбициями и идеологиями отдельных членов элиты, с одной стороны, и политическими событиями, подорвавшими государственный социализм и сформировавшими облик новых режимов, — с другой.

Внутри номенклатуры коммунистической эпохи Кинг и Селеньи (King and Szelenyi, 2004) обнаруживают расколы: те, кто старался подняться из средних страт, но был блокирован партийными функционерами более высокого уровня, искали другие каналы мобильности в частично приватизированном экономическом секторе, возникшем при коммунизме. В той степени, в какой частное предпринимательство предлагало более высокие доходы, нежели партийные посты, партийные функционеры более низкого уровня приходили в бизнес, создавая раскол между собой и партийными элитами, а также со средними стратами, по-прежнему отдававшими свои усилия сохранению или продвижению своей карьеры внутри партии. Вот так технократы в восточноевропейских партиях, понявшие, что их карьера и надежды на реформирование блокированы, нашли в возникающем частном секторе новый способ подняться наверх и бросить вызов государственному социализму; именно поэтому они и распрощались с государственным социализмом и стали передним краем капиталистического предпринимательства.

В анализах Селеньи и соавторов мобильность и порождение неравенства представляют собой комплекс-

ный и контингентный процесс. Со сменой политической среды изменяется и цель, к достижению которой стремится любой индивид. Там, где партийный пост некогда являлся определяющим фактором материальных вознаграждений, власти и престижа, открывшийся частный сектор создал новый путь наверх и новый набор вознаграждений: деньги без власти и меньший престиж, чем давал партийный пост. Как только партийное правление рухнуло и пост в номенклатуре перестал считаться чем-то особенно престижным, то же самое произошло и с защищенностью подобных постов, и с благоприятными возможностями для дальнейшего подъема.

Как только известные пути к мобильности изменились, произошло сращивание изменчивых частных расчетов членов партии и средних страт, которое привело к появлению новых оснований для противостояния государственному социализму. «Это была действительно новая технократическая элита, а не те диссидентствующие интеллектуалы, с которых начались требования второй экономической реформы» в 1980-х годах (King and Szelenyi, 2004, p. 120). Технократы с их расчетом и чутьем, устроившиеся в полуприватизированных государственных фирмах и рассчитывавшие воспользоваться благоприятными возможностями в случае дальнейшей приватизации этих фирм, стали политической силой. Технократы бросили вызов легитимности партийного правления. Как показывают Эял, Селеньи и Таунсли, в странах Восточной Европы этот процесс не был единообразным. В тех странах, где экономическая либерализация ушла дальше уже в 1960–1970-х годах, технократическая элита была многочисленнее и у нее был более реалистичный шанс получить выгоду от рывка к дальнейшей либерализации. Вот почему в Венгрии и Польше этот политический сдвиг произошел главным образом за счет внутренних сил, тогда как в других странах Восточной Европы партийное правление и государственный социализм внезапно обрушились в 1989 году, когда горбачевский Советский Союз

отозвал свою поддержку устаревших партийных режимов и подтолкнул их к скорейшему реформированию.

Крах государственного социализма открыл новые возможности для мобильности и развития структур неравенства после 1989 года. Вероятность получения членами средних страт выгоды от расширения уже либерализованных экономик в Венгрии и Польше была больше, чем где-либо еще в Восточной Европе. При отсутствии в остальных странах Восточной Европы и в России уже существующего прочного и жизнеспособного частного сектора пути вверх были гораздо более фрагментированными. «В России технократии не только не удалось сместить бюрократическую элиту. Применительно к этому случаю едва ли вообще можно говорить о различии между технократией и бюрократией» (Eyal, Szelenyi, and Townsley, 1998, p. 167). Эял и соавторы приходят к выводу, что восточноевропейские государства были ближе к этой российской действительности, нежели к образцу Венгрии и Польши, и поэтому партийные функционеры на Востоке имели больше возможностей для участия в «политическом капитализме», обогащаясь за счет присвоения государственных активов, а не за счет создания новых предприятий, самостоятельно или совместно с инвесторами из Западной Европы. Поэтому элиты в Восточной Европе тоже практиковали иную политику — они стремились усилить те государства, в которых занимали посты и из которых могли извлекать выгоду.

Селеньи и его коллегам удалось объяснить межстрановую вариативность неравенства за десятилетие ускоренных структурных изменений. Пользуясь языком Тилли, можно сказать, что они показывают, как изменение государственного курса создало благоприятные возможности для включения номенклатуры среднего и более высокого уровней в новые формы эксплуатации и аккумуляции, подобно тому, как для флорентийской элиты, описанной Эмай, такие возможности создал захват

тосканской деревни, а для крестьян-середняков на краткий срок до наступления сталинской коллективизации — революция 1917 года. Хотя Селеньи и соавторы смогли установить характеристики тех, кто извлек выгоду из данных возможностей (и тех, кто не смог и оттого ниспал в более низкие страты), их главным достижением является то, что они показали, как сопряжение отдельных усилий вылилось в давление на государство и на предприятия и произвело дальнейшее изменение в структуре возможностей. Несмотря на то что их труд заимствует некоторые аспекты методологии «достижения статуса» и успешно отвечает на вопросы исследователей, занимающихся изучением «достижения статуса», он является полностью историческим, поскольку показывает, как взаимодействовали между собой критерии стратификации, индивидуальные качества, признаваемые системой стратификации, и структуры, которые устанавливали размер и распределение вознаграждений, определяя тем самым величину, направление и хронологию исторического изменения. Селеньи и соавторы показывают, сколь значительную роль сыграла политика в увеличении неравенства в странах бывшего советского блока. Подход Селеньи и его соавторов и подходы Шанина и Эмай, так же как и теоретический каркас Тилли, предлагает модели того, как можно конструировать историческое объяснение в отношении увеличения неравенства в США и других странах за последние десятилетия. Эти исторические социологи признают то, что игнорируют исследователи «достижения статуса» — что неравенство создается в основном масштабными политическими процессами и изменениями, как правило, в моменты перехода. Историческая социология уделяет большое внимание темпоральным и географическим различиям, а не просто принимает некую универсальную теорию, основывающуюся на опыте США. Неравенство сказывается на индивидах, но создают его крупные социальные силы, по-разному проявляющиеся в каждую историческую эпоху.

## ГЛАВА 7. ГЕНДЕР И СЕМЬЯ

На протяжении большей части человеческой истории социальные акторы идентифицировали себя не в качестве отдельных лиц, а в качестве членов семей или родственных групп. По словам Уолли Секкома, «Люди готовы пожертвовать многим, лишь бы ничто не угрожало непрерывности существования, чести и жизненному уровню их семей <...> В домашнем окружении индивиды до сих пор действуют своекорыстно, но их жестко ограничивает их положение в семье и необходимость поддерживать тесные узы» с другими членами семьи (Secombe, 1992, p. 23). Именно поэтому незавершенность социологических и исторических анализов обусловлена той мерой, в какой им не удается показать, как семейная идентичность сказывалась на лояльности, интересах и расчетах социальных акторов. Дело здесь не только в том, чтобы сделать предметом изучения женщин самих по себе, но также и в том, чтобы признать необходимость включения гендерной и семейной динамики в построение более точных объяснений исторического изменения во всех предметных областях, таких как образование государства, неравенство и политика правительства. Как и в предыдущих главах, на примере нескольких образцовых работ мы увидим, как лучше всего заниматься изучением гендера и семьи в историческом контексте и как результаты таких исследований могут быть использованы в историко-социологических объяснениях.

Исследовательская деятельность исторических демографов сосредоточена на решениях пар вступить в брак и иметь детей; они стремятся выявить факторы, объясняющие темпоральные и географические различия в коэффициентах фертильности (*fertility rates*). В большинстве этих исследований предпринимаются

попытки объяснить личный выбор, как его представляют, например, Кингсли Дейвис (Davis, 1955), Джон Хайнал (Hajnal, 1965) и Лутц Беркнер (Berkner, 1978); многие, подобно исследователям «достижения статуса», концентрируются на индивидуальных характеристиках, чтобы объяснить различия в доходах. Эти авторы сравнивают общества, в которых пары образуют нуклеарные семьи (а стало быть, до вступления в брак и появления детей им необходимо накопить достаточно ресурсов, чтобы поддерживать собственное домохозяйство) с обществами, в которых молодые пары могут вступать в брак и иметь детей в более раннем возрасте, так как они могут опираться на поддержку той расширенной семьи, в которой они живут. Эти исследователи показывают, как совместный эффект особенностей наследования и ведения домашнего хозяйства определяет порядок доступа к земле и создает стабильные демографические закономерности<sup>1</sup>. Этот подход, подобно исследованиям «достижения статуса», тяготеет к тому, чтобы преемственность индивидуальных и семейных практик исследовалась отдельно от национальных и локальных экономических и политических сил, нарушающих и трансформирующих демографические и семейные закономерности, однако в свою очередь также находящихся под влиянием гендера и семьи.

Книга историка Лоуренса Стоуна «Семья, секс и брак в Англии, 1500–1800 годы» (Stone, 1977) является одним из первых примеров усилия, направленного на то, чтобы, взяв одну страну на протяжении нескольких столетий, проследить изменения структуры семьи и культурных ожиданий и действительных практик, существовавших у элит и средних классов в отношении брачных отношений и воспитания детей. Стоун объясняет эти изменения в терминах сдвигов, повлиявших

<sup>1</sup> Блестящий обзор и критику литературы по этой тематике дает Эмай (Emigh, 1997b).

на способность государства вмешиваться в дела родственных групп и семей, — того, что он считает колебаниями между либерализмом и подавлением. Если говорить о еще более недавнем времени, Уолли Секком (Seccombe, 1992) рассматривает взаимодействие между темпоральным изменением в рамках семьи — когда ее члены «достигают положения, обеспечивающего средства к существованию», приобретают жизненное пространство (землю и/или жилище), заводят семью, вступают в брак, рожают и растят детей и обеспечивают своих пожилых родителей» (р. 25) — и трансформациями в способе производства. Он прослеживает, как крестьяне (взятые как семьи и как локализованные и региональные классы) корректировали свою фертильность и видоизменяли структуру своих семей, стараясь воспротивиться или смягчить их эксплуатацию землевладельцами. Таким образом, переход от расширенных (родовых) к нуклеарным семьям и неоднократные попытки максимизировать, а не сократить фертильность оказываются в анализе Секкома результатом появления новых возможностей, созданных наемным трудом для того, чтобы младшие члены родовых семей могли уйти от мандориальных ограничений, а их старшие члены — обрести инструмент давления на землевладельцев.

Проблематика Секкома дополняет проблематику Шанина, которую мы разбирали в предыдущей главе. Шанин рассматривал размер семьи как данность, описывая, но не объясняя изменения в фертильности, что позволило ему изучить, как практики в рамках семей или отдельных местностей сплавились в политическую силу, которая сказывалась на куда более высоком уровне политики. Секком же, напротив, объясняет, как изменения в способе производства (прежде всего, распространение наемного труда в столетия надомной системы и протопромышленности) сказывались на размере семьи и ослабляли расширенные семьи. Как бы то ни было, сосредотачивая внимание на взаимодействии между семьей и способом

производства, он упускает то, чем приходится жертвовать на промежуточном политическом уровне. В отличие от Шанина, Секком не показывает, как семейные практики сказывались на тех политических конфликтах, которыми создавались и проталкивались вперед трансформации в способе производства. И все же в следующем томе (Seccombe, 1993) о промышленной революции он объясняет, как семьи начали выдвигать политические требования контроля рождаемости. Этим самым Секком конструирует причинную модель, объясняющую появление широко распространенных действенных мер по контролю рождаемости и последующий резкий спад фертильности в нескольких (а затем еще и в других, хотя и не во всех) регионах мира — переход, описанный, но не объясненный Йораном Терборном (Therborn, 2004) в его глобальной истории типов семьи XX века.

Секком (Seccombe, 1993) отмечает, что действенный контроль рождаемости нуждается в участии обоих партнеров. Опираясь на дневники, письма и редкие очерки государственной и частной жизни Европы XIX века, он показывает, что женщинам не терпелось ограничить размер их семей еще за несколько десятилетий до того, как в этом желании к ним присоединились мужчины. Усилия женщин не встречали положительного отклика со стороны мужей, отказывавшихся практиковать *coitus interruptus* (прерванный половой акт), заниматься негетеросексуальным сексом или использовать презервативы, и натывались на препятствия как со стороны врачей, отказывавшихся обсуждать действенные методы контроля рождаемости, так и со стороны правительств, стремившихся повысить рождаемость, чтобы обеспечить государство работниками, налогоплательщиками и солдатами. И все же к началу XX века во многих странах Западной Европы меры по контролю рождаемости практиковались рабочим классом достаточно эффективно, чтобы значительно сократить рождаемость. Как же это произошло?



Секком выявляет факторы, которые преобразили мировоззрение и практики семей рабочего класса. Решающую роль в этом сыграли государства и элиты. В XIX веке супружеские пары из элиты ограничили свою фертильность, показав мужчинам и женщинам из рабочего класса, что подобное возможно и что количество детей — это не вопрос судьбы. Секком подкрепляет эту гипотезу нарративными свидетельствами, обильно цитируя дневники и письма представителей рабочего класса. Во-вторых, изменился экономический расчет супружеских пар из рабочего класса. Как только государства с успехом заставили родителей все больше и больше лет держать своих детей в школах, родители уже не могли наживаться, отправляя своих детей работать. Так дети из экономических активов, начинавших приносить отдачу в возрасте 8–10 лет, превратились в статью расходов, вплоть до достижения ими двенадцати- или четырнадцатилетнего возраста, незадолго до того, как они покидали родительский дом. Хотя введение государством массового школьного обучения и не преследовало цели сокращения рождаемости, именно оно и вызвало данный эффект.

Стоило супружеским парам из рабочего класса прийти к согласию по поводу желательности ограничения размеров своих семей, как контроль рождаемости стал политическим вопросом. Терборн заметил (но не объяснил почему), что правительства в Скандинавии, а затем и в ряде других стран приняли курс, упростивший для граждан меры по контролю рождаемости и снижению фертильности. Ответ Секкома таков: правительственные программы обеспечения контроля рождаемости (или легализации доступа к таковому) были откликом на народное давление. Таким образом, скандинавские правительства проводили прогрессивный курс в отношении контроля рождаемости и прав женщин, потому что их прежняя политика массового образования изменила структуру экономики, трансформировала семейную динамику и привела избирателей из рабочего класса

к внесению контроля рождаемости в политическую повестку.

Труд Секкома о европейских семьях в период промышленной революции показывает, как можно использовать исчерпывающий анализ документов из повседневной семейной жизни для прояснения динамического взаимодействия между макроизменениями в экономике и структурными изменениями в семье. Он замечает (однако не прорабатывая этот вопрос до конца), что семьи стали политическими акторами, оказывающими давление на государства и партии, чтобы те отвечали их заботам и шли навстречу их требованиям. Именно на этой проблеме и сосредотачивает свое внимание Джулия Адамс (Adams, 2005). Ее волнует анализ того, как семьи элит защищали и продвигали свои интересы, а также влияние, которые эти усилия оказывали на соответствующие структуры и траектории государств. Адамс проводит связь между семьей и государством, так же как Эмай, которую мы разбирали выше, увязывает семью с капиталистической динамикой.

Вслед за Вебером Адамс видит в патримониальном правлении «государство, [в котором] политическая власть и администрирование считаются “личной собственностью” правителя» (Adams, 2005, p. 16). Адамс не ограничивается рамками, предложенными Вебером, и привносит в свой анализ гендер и семью, показывая, что главы патриархальных семей в Европе раннего Нового времени не были только лишь индивидами, действовавшими в видах своей личной выгоды и присваивавшими для этого государственную собственность и власть. «Патриархат шире, чем идея [Секкома (Seccombe, 1992)] о некоей форме семьи, характеризующейся главенством мужчины» (p. 31–32). Вместо этого главы патриархальных семей являлись главами домохозяйств, в которых существовали сложные и переменчивые внутренние отношения, сказывавшиеся на их реальной способности бороться за государственную власть или накапливать богатства.

Как и у Секкома, в поле зрения Адамс лежит внутренняя динамика семей эпохи раннего Нового времени, однако в ее анализ включены некоторые стороны, которые упускаются Секкомом и другими исследователями. Она сосредотачивается на отношениях между родителями и детьми и в особенности на дифференцированных статусах и положении старших сыновей, младших сыновей и дочерей. В какой-то мере Адамс удается проникнуть в суть отношений между sibлингами (детьми одних родителей), поскольку с точки зрения амбиций, присущих семьям элит, эти отношения имеют такое значение, какого они не имеют для семей крестьян и пролетариев, изучаемых Секкомом (несмотря на то, что в модели Шанина различия между sibлингами являются решающим элементом формирования межпоколенческой мобильности).

Патриархальные семьи не преследовали свои интересы, обособившись от других. Они постоянно наталкивались на сопротивление других таких же семей, конкурировавших за политическую власть и экономическое преимущество. Патримониальные государства Европы раннего Нового времени не имели четко установленных внешних границ. Их институты также не были четко дифференцированы: армии, суды, сборщики налогов, общественные службы, церкви, — все эти государствовподобные задачи, взятые на себя данными протогосударствами, выполнялись конкурирующими и взаимопересекающимися организациями, входившими в состав патриархальных семей. Государства раннего Нового времени по сути представляли собой сплав притязаний и потенциалов семей элит. Проанализировав, каким образом эти семьи стремились обезопасить свои интересы на столь неопределенной и зыбкой почве, Адамс показывает, что динамика образования государства настолько же обязана конкуренции семей, насколько она обязана той разновидности конкуренции между правителями, которая акцен-

тируется в модели Тилли (разобранной нами в пятой главе).

Сосредоточение Адамс на внутренних отношениях патриархальных семей элиты (и на взаимодействиях их членов) вскрывает некий аспект образования государств, игнорируемый другими учеными, которые не могут исследовать (или зачастую даже признать) семейную и гендерную динамику. Адамс делает вывод, что семьи элиты редко сражались друг с другом за власть и привилегии. Напротив, они шли на компромиссы, составляя договоры и пакты, чтобы поделить между собой государственные доходы и должности, а позднее — маршруты международной торговли и колониальные земли и должности. К этому пониманию Адамс приходит через развернутый разбор случая Нидерландов, которые стали первооткрывателями этого метода семейных компромиссов и тем самым пробились сквозь ряды своих геополитических соперников, построив одну из ведущих военных держав XVII века и создав колониальную империю и торговую сеть, позволившую голландцам на десятилетия достичь экономической гегемонии в Европе. Внимание Адамс к семейной динамике (и ее выделение глав патриархальных семей в качестве ключевых политических акторов в Европе раннего Нового времени) позволяет ей увидеть (как этого не видели предшествующие историки и социологи) новаторский путь Нидерландов в направлении образования государства. Поэтому-то прежние ученые, сосредотачивавшиеся не на семьях, а на индивидуальных акторах, демонстрируют менее завершенную картину процесса образования государств и глобальной экспансии.

Книга Адамс высвечивает семейную динамику, однако ее цель отличается от цели Секкома, которого прежде всего интересуют прослеживание и объяснение изменений, с течением времени происходящих с формами семьи. Патримониальные семьи Адамс в исследуемые ею столетия демонстрируют неизменность существования

и относительную стабильность своей внутренней структуры и динамики. Вместо этого ее целью является объяснение образования государства. Мунира Шаррад (Charrad, 2001) избирает иной, хотя и комплементарный подход: ее цель — объяснить разные политики в отношении прав женщин, принятые в постколониальном Тунисе, Алжире и Марокко.

Шаррад ставит чисто сравнительную проблему: почему недавно ставшие независимыми бывшие французские колонии Тунис, Алжир и Марокко «в том, что касается семейного права, придерживаются заметно различающихся подходов?» (Charrad, 2001, p. 2). Она отмечает, что у этих трех стран существовали фундаментальные сходства: все раньше были французскими колониями, являлись мусульманскими странами и были соседями по Магрибу в северо-западной части Африки. Ни в одной из этих трех стран «в 1950-х годах не было опирающегося на широкие слои рядового населения женского движения, требующего расширения прав женщин». Вместо этого «действие семейного права исходило “от верхушки”» (Ibid.). Новое тунисское государство обнародовало законы, налагающие запрет на полигамию, дающие мужьям и женам равные права относительно подачи на развод, расширенные права материнской опеки после развода и права наследования дочерей. В то же время марокканское право кодифицировало исламские практики, дискриминировавшие женщин при разводе, опеке и наследовании. Алжирское «семейное право намертво застряло между реформистскими и консервативными тенденциями на более чем двадцать лет после обретения страной независимости в 1962 году. В течение этого времени планы реформ неоднократно отменялись до тех пор, пока в 1984 году не был обнародован консервативный семейный кодекс, верный исламскому праву» (Ibid., p. 1).

Разные итоги этих трех стран Шаррад объясняет, рассматривая отношения между государством и племенами,

в той мере, в какой они менялись от доколониальной к колониальной эпохе, а потом и к эпохе независимости. Племена — это сплавления расширенных родственных групп, объединившихся для защиты земельных прав и блокирования налоговых требований со стороны доколониальных государств. Племенная динамика несколько отличается от динамики тех патриархальных семей, которыми занимается Адамс, а именно тем, что в состав каждого племени входили множественные главы многочисленных расширенных патриархальных семей. Шаррад не фокусирует свое внимание на этой внутренней динамике так, как это делают Адамс и Секком. Вместо этого она сравнивает отношения между государством и племенами во всех трех обществах. Итак, относительно сильное тунисское государство в доколониальную эпоху сумело придать некоторую степень единообразия семейному и имущественному праву в племенах, тогда как слабое алжирское государство даже и не покушалось на подобный контроль, позволяя каждому племени править по-своему. В Марокко же слабое государство было более амбициозным и погрязло в нескончаемой и безрезультатной борьбе с племенами.

Французский колониализм видоизменил отношения между государством и племенами в каждой из этих стран. Говоря языком Сьюэлла (Sewell, 1996) и Абрамса (Abrams, 1982), колонизация представляла собой насыщенные событиями череду разрушительных, хронических и безрезультатных конфликтов и трансформировала племенные и национальные социальные структуры, как это происходило в этих трех странах и в позднейшие времена борьбы за независимость. Французы, а позднее и движения за независимость союзничали с племенами (или же стремились их ослабить) в рамках стратегий по достижению и сохранению политической власти. Националистические группы сражались не только с французами, но в равной мере и друг с другом. Племена играли потенциально решающую роль, и различные

фракции внутри движений за независимость вынуждены были решать, какую именно позицию занимать в отношении семейного права, чтобы завоевать лояльность племен; также им приходилось решать, может ли этот альянс быть стратегически или идеологически оправдан перед другими сторонниками. Таким образом, марокканский король вступил в союз с племенами, чтобы подкосить и французов, и городских националистов. Долгая и жестокая борьба Алжира против французов закончилась появлением политически раздробленного независимого государства, поделенного между светским городским и сельским племенным блоками. На разрешение этого конфликта потребовалось более двадцати лет. Наконец, в 1984 году правительство провело консервативное семейное законодательство в целях усиления поддержки среди сельских племен. Сопrotивление городских образованных женщин предшествовавшим консервативным проектам этого законодательства было преодолено с помощью государственного репрессивного аппарата. Ни колонизация, ни борьба за независимость не ослабили племена в достаточной мере и не усилили достаточным образом женщин как политическую силу, чтобы конечный итог был другим. Тунисская политическая централизация доколониальной эпохи перетекла в борьбу за независимость, в которой доминировали городские слои и в центре которой стояла единственная националистическая партия. В этом движении за независимость существовала сельская исламистская фракция, но над ней удалось взять верх (отчасти с помощью французов, предпочитавших иметь дело со светским, а не с панарабским исламистским независимым режимом). Либеральное семейное право отражало ослабление племен в условиях французского колониализма и политического усиления городских слоев, а также централизацию интересов нового тунисского правительства, сформированного после обретения независимости.

Шаррад прослеживает изменение режима в эпохи колониализма и независимости, чтобы дать объяснение той разновидности семейного права, которую провозглашал каждый режим. Однако ее картина данной политики получает сложность и точность благодаря признанию той ключевой роли, которую во всех трех странах сыграли патриархальные племена, так же как Адамс позволяет нам лучше понять образование государства благодаря признанию роли патриархальных семей элиты. С точки зрения Шаррад, семейное право и государственная власть (а с точки зрения Адамс, сама структура и потенциал государства) формируются соответственно племенной динамикой и патриархальной семьей.

Нуклеарные семьи современной эпохи в отношении государственных программ и политик являются не только реципиентами, но и акторами. То, как работает данное причинное взаимодействие, и его проявляющиеся со временем последствия образуют предмет полемики между Гостой Эспинг-Андерсеном (чей труд по государствам всеобщего благосостояния мы разбирали в пятой главе) и Энн Орлофф и ее сотрудниками. Орлофф (Orloff, 1993) метко критикует Эспинг-Андерсена (Esping-Andersen, 1990) за то, что последний упускает из виду, каким образом разные режимы социального государства сказываются на гендерных отношениях, укрепляя или оспаривая мужскую власть внутри семьи. Например, Эспинг-Андерсен даже не делает попыток объяснить различия между странами в области обеспечения возможностей ухода за детьми, которые играют более существенную роль в определении степени участия женщин в трудовых ресурсах, чем общий уровень социальных пособий и льгот; не обращается он и к рассмотрению роли женщин в частном (то есть негосударственном) предоставлении социальных благ и услуг посредством их безвозмездного труда. Также Орлофф утверждает, что политические позиции женщин в вопросах социальной политики часто разнятся,



поскольку эта политика сказывается на них иначе, чем на мужчинах. Даже в рамках одного типа режима государства всеобщего благосостояния (такого как скандинавская социал-демократическая система) различия в семейной политике, а также вариации в семейных отношениях и в доступе женщин к рынку труда могут вызвать разные последствия с точки зрения доходов, благополучия и автономии женщин в рассматриваемых странах.

Притом что в книге «Три мира социального капитализма» (Esping-Andersen, 1990) отсутствовала тема гендерной политики, в своей последующей книге (Esping-Andersen, 1999) Эспинг-Андерсен обращается к решению некоторых вопросов, поднятых Орлофф. Анализируя, как политика, принятая в каждом из трех типов систем социального обеспечения, сказывается на материальных условиях женщин и на совокупности социальных прав граждан, он довольно далеко выходит за пределы своей более ранней книги. Он не занимается выяснением, какие именно перспективы каждый режим открывает для политической деятельности женщин или как политическая мобилизация женщин сказывается на итоговом распределении власти в обществе, а следовательно, и на будущих возможностях сохранить или расширить эти режимы государства всеобщего благосостояния. В результате его анализ оказывается статичным. В нем мало исторической динамики. Стоит только установиться типу режима социального обеспечения, как он тут же оказывает постоянный эффект на гендерные отношения и социальное положение женщин. Женщины в обеих книгах Эспинг-Андерсена — это пассивные реципиенты правительственных программ. Они не являются политическими акторами, и, в результате, его модель не справляется с освещением причин изменений в гендерных отношениях или в области социальных программ, адресно сказывающихся на женщинах, за исключением учета общих изменений в соответствующем режиме социального государства.

Один из способов объяснить изменение в гендерных отношениях, происходящее со временем как в семье, так и в государстве, предлагает книга О'Коннор, Орлофф и Шейвер (O'Connor, Orloff, and Shaver, 1999). Они исследуют, как сказывается на женщинах политика государства в трех сферах: рынок труда, денежная помощь и репродуктивные права. Вместо рассмотрения случаев, свойственных каждому типу режима государства всеобщего благосостояния, они сравнивают четыре либеральных режима (США, Канада, Австралия и Британия). Это, с одной стороны, дает им возможность сосредоточить внимание на том, как различия в области гендерных отношений и власти сказываются на политической борьбе (politics) и политическом курсе (policy), а с другой — избежать ненужного влияния совсем иных движущих сил, действующих в консервативных и социал-демократических режимах государства всеобщего благосостояния. В принципе, другие ученые могли бы выполнить подобный анализ и для двух остальных типов режима.

Изменения в социальной политике трансформируют политическую жизнь: Эспинг-Андерсен признает этот факт на уровне классов, профсоюзов и партий, но не в случае гендера. О'Коннор с соавторами, показав, как система социального обеспечения сказывается на гендерных отношениях и как эти отношения сказываются на ней, предлагает метод для развертывания исторического анализа того, как изменятся роль женщин в социальной политике с течением времени. Они упоминают о набравшем за последние десятилетия силу рыночном либерализме или неоконсерватизме и отмечают, что сопротивление ему со стороны женщин и союзников мужчин, мобилизующихся по гендерным вопросам, выстраивается и поддерживается совсем иначе, нежели со стороны тех групп, которых Эспинг-Андерсен и другие авторы идентифицируют в качестве наиболее активных по негендерным социальным вопросам. Они приходят к выводу, что в США

## ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ?

и Канаде женщины мобилизуются, чтобы заявить претензии, в основе которых лежат юридические притязания на равные права (такие как требования равной оплаты за одинаковую работу в частном секторе), тогда как женщины в Австралии и Британии требуют включения их в существующие программы, выделяющие социальные пособия и льготы, которые изначально были завоеваны профсоюзами и другими классовыми организациями.

Подобно Шаррад, Адамс и Секкому, Орлофф и ее коллеги признают, что гендер и семья не могут считаться подкатегорией класса или других категорий. Семейная динамика также не может изучаться обособленно. Если мы хотим заниматься исторической социологией гендера и семьи, нашей целью (как это — различным и порой незавершенным образом — стало целью упомянутых ученых) должны стать прослеживание взаимодействий семейных, экономических и политических структур и выявление тех мест и моментов, в которые акторы способны совершить событийные изменения, создающие почву для дальнейшего конфликта и исторического изменения. В лучших трудах признается, что открытые перспективы для дальнейшего действия зачастую сужаются в разнообразных формах семьи, режимах социального государства и экономических структурах, созданных прежними конфликтами.

## ГЛАВА 8. КУЛЬТУРА

Историческим социологам — а в действительности вообще всем социологам — необходимо выяснить, в каком свете социальные акторы видят самих себя и свою деятельность. По мнению одних исторических социологов, понимание того, как акторы воспринимают действительность, само по себе является темой, достойной изучения. По мнению же других, оно необходимо для объяснения истоков капитализма, хода и итогов революций, тех или иных способов, с помощью которых империалисты стремятся править подвластными народами, или иных явлений, составляющих предмет их интереса. В седьмой главе мы увидели, что признание и тщательное изучение того, как индивиды идентифицируют себя, исходя из своей принадлежности семьям и родам, имеют существенное значение для понимания истоков государств или межстрановой и межвременной вариативности социальной политики.

В своем весьма влиятельном эссе Адамс, Клеменс и Орлофф (Adams, Clemens, and Orloff, 2005) утверждают, что в американской исторической социологии в последние двадцать лет разворачивалась третья волна исследований, в ходе которой культура интересовала исследователей гораздо больше, чем во время двух предыдущих волн. Согласно их анализу ученых первой волны заботили истоки современного мира. Как мы увидели в первой главе, отцы-основатели Маркс, Вебер, Дюркгейм и их преемники разбирались с крупнейшим из вопросов. Несмотря на то что эта большая тройка, конечно же, обращалась к рассмотрению культуры, это происходило на таком высоком макроуровне, что ими не было создано сколько-нибудь серьезного базиса для конкретных исследований изменений, актуализирующихся в тот или

иной исторический момент, и когда они пробовали использовать «высокую» теорию (*grand theory*), нередко это заканчивалось искажениями действительной истории, как это было у Вебера с его «Протестантской этикой». Невелика польза от Маркса, Вебера и Дюркгейма и при объяснении различий в пространстве и во времени, когда они происходят на более детальном уровне, нежели уровень тех эпохальных преобразований, о которых они писали. Пределы подобного «высокого» теоретизирования мы видели во второй главе, когда критиковали ограниченность усилий Эйзенштадта (Eisenstadt, 1968) «найти эквиваленты протестантской этики в незападных обществах». Подобным же образом теория модернизации пыталась втиснуть истории всех стран нескольких последних столетий в рамки одной единственной трансформации, пусть и идущей с разной скоростью, — из традиционных обществ в модернистские.

Адамс с соавторами (Adams et al., 2005) точно описывают вторую волну как реакцию на упрощения и сверхобобщения теории модернизации. Ведущие представители этой волны, среди которых особенно выделяются Теда Скочпол и Чарльз Тилли, стремились привнести в историческую социологию научную строгость, формулируя проблемы в терминах социальных структурных изменений, которые могли тщательно уточняться, и опробуя марксистскую и веберрианскую теории (и конкретные смещения этих и других точек зрения, выработанных каждым из авторов второй волны) на целом ряде проблем, локальных эпизодов и периодов времени.

Эффектом (до некоторой степени непреднамеренным) переноса историческими социологами второй волны основного акцента на структуру стало то, что культура была упущена из виду. В результате «та парадигма, которая направляла труды второй волны, оказалась неспособной справиться с целой серией эпохальных преобразований»: новыми социальными движениями,

«феминизмом, освобождением геев, продолжающимися восстаниями у постколониальных народов, расовых и этнических меньшинств» и подъемом «феминистской теории, постколониальной теории, квир-теории и критических расовых исследований» (Adams et al., 2005, p. 29). На взгляд Адамс, Клеменс и Орлофф, этот интеллектуальный вызов марксизму и вдохновленной марксизмом исторической социологии второй волны был усилен фактическим коллапсом социалистических режимов в 1989 году и «последовавшим возрождением либерализма, превращениями глобализации [и] фундаментальными вызовами порядку национальных государств» (Ibid.)<sup>1</sup>.

Адамс и ее коллеги в своем эссе, а также каждая в своих собственных исторических работах предлагают ряд рекомендаций относительно того, как культурно ориентированный исторический анализ может преодолеть ограниченность структурного анализа второй волны, чтобы обратиться к рассмотрению социальных движений и исторических трансформаций последних десятилетий. Собственная работа Орлофф (Orloff, 1993; O'Connor, Orloff, and Shaver, 1999) о роли гендера и семьи в формировании содержательного наполнения и введения системы социальных пособий и льгот, которую мы разбирали в предыдущей главе, является примером того, как культурно ориентированная историческая социология высказывается по поводу влияния новых социальных движений на государство. Подобным же образом работа Адамс (Adams, 2005) (также разобранный в седьмой главе), в которой прослежены причинные взаимодействия между культурой и структурой в XVII столетии, предлагает модель того, как подобный анализ может

<sup>1</sup> Информацию о симпозиуме по книге Адамс с соавторами, на котором девять участников выступили с ее критикой и представили свое собственное понимание истории американской исторической социологии, см. в: Lachmann, 2006.

быть использован для объяснения недавних, а не только давно прошедших эпохальных преобразований, что и делает Джордж Стайнмец (Steinmetz, 2007, 2008), чьи труды по германскому колониализму мы обсуждали в четвертой главе. Филип Горски (Gorski, 2003), Эйко Икегами (Ikegami, 1995) и Мэри Фулбрук (Fulbrook, 1983), с которыми мы встречались во второй главе, демонстрируют нюансированный взгляд на религию и ее многогранное и опосредованное воздействие на капиталистическое развитие и образование государства.

Эссе Адамс с соавторами сосредоточено главным образом на США, и поэтому представленная в нем история роли культуры в исторической социологии упускает из виду многие значимые статьи неамериканских исследователей, а также немало выполненных историками работ, которыми можно было бы руководствоваться как в культуралистской исторической социологии институтов и изучении исторического изменения в культурных практиках, так и в социологии идей. Главным образом французская «история ментальностей», начавшаяся в 1960-х годах и находившаяся под сильным влиянием перевода книги Михаила Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (представленной в 1940 году в качестве диссертации в Советском Союзе и опубликованной в окончательном виде в 1965 году на русском и французском языках [Bakhtin, 1968; Бахтин, 1990]), предлагает модель исторического изучения культуры. Бахтин обращается к рассмотрению такой широчайшей области, как возникновение и развитие классового общества. С этой целью он весьма своеобразным образом анализирует роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», впервые изданный в 1530-х годах. Бахтин утверждает, что этот труд является окном, позволяющим заглянуть в доклассовое общество, которое, на его взгляд, окончательно подавлялось как раз во времена Рабле. Он изучает страницы этого романа в поисках ключа к разгадке того, как обычные люди тем

не менее оставались способны бросить вызов своим правителям. Элементы карнавала и гротеска в романе согласно анализу Бахтина являлись свидетельством действительных ритуалов и практик, оспаривавших и опрокидывавших ту классовую иерархию, которая окончательно закрепилась в столетия Ренессанса.

Бахтин оказался столь влиятелен прежде всего потому, что он указал ученым на такие непривычные документы, как романы, и на новаторские техники извлечения из них исторических свидетельств, с помощью которых можно было бы проникнуть в то, как жили и думали простолюдины, при ином подходе оставшиеся бы неизвестными.

Под влиянием его труда историки и исследователи общества (главным образом европейские) по-новому взглянули на литературные произведения, полицейские протоколы, стенограммы инквизиционных процессов, живопись и прочие артефакты, помогающие отыскать ключ не только к материальным обстоятельствам жизни людей, но и к тому, как они мыслили. Роман Рабле содержал свидетельства об альтернативном социальном порядке, который, как доказывает Бахтин, действительно существовал в эпоху Позднего Средневековья и Ренессанса и конкурировал за институциональное и культурное господство в городах и деревнях, в поместьях и в армиях.

С точки зрения Бахтина, культура — это одновременно и средство создания социальных отношений, способных стать вызовом властным авторитетам и иерархии, и средство предвидения некоего альтернативного порядка. Таким образом, средневековый карнавал собирал людей на совместную потеху, а также, что существенно, позволял им бросить вызов власть имущим, одновременно представляя собой неиерархическое общество, которое участники карнавала действительно могли создать в его рамках. Вот почему, по утверждению Бахтина, «карнавал <...> не знает рампы» (Bakhtin, 1968, p. 7;



Бахтин, 1990, с. 12). Мощь карнавала состояла не в том, что он был фантастическим представлением, на которое можно было бы поглазеть, или сатирой, которой можно было бы развлечься. Скорее, правдоподобной альтернативой было то, что создание реальности карнавала находилось во власти его участников.

Бахтин показывает, что, как только классовое общество окончательно и необратимо закрепилось в Европе раннего Нового времени, значение карнавала в качестве события и литературного тропа трансформировалось. Гротескный образный ряд карнавала — и настоящего, и описанного в романе Рабле — изменился: будучи поначалу репрезентацией и деятельным выражением коллективной способности простонародья трансформироваться в некий социальный мир, он стал выражением «субъективного, индивидуального мироощущения» (Bakhtin, 1968, p. 36; Бахтин, 1990, с. 44). В конце XVIII века гротеск «становится камерным <...> с острым сознанием этой своей отъединенности» (p. 37; с. 45). «Образы романтического гротеска бывают выражением страха перед миром и стремятся внушить этот страх читателям («пугают»). Гротескные образы народной культуры абсолютно бесстрашны и всех приобщают своему бесстрашию» (p. 39; с. 47). Бахтин приходит к выводу, что гротеск XX века имеет «мрачный и страшный, пугающий тон <...> На самом же деле такой тон абсолютно чужд всему развитию гротеска до романтизма» (p. 47; с. 56). Он не только прослеживает изменения, происходящие с литературной формой, — он показывает, что литературная и народная образность изменились, когда в XVI и последующих веках были утрачены имевшиеся возможности трансформационного социального изменения<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В отношении книги Бахтина встает вопрос: как он сумел уловить историческую основу Рабле и исходный смысл карнавала и гротеска? Об этом Бахтин скромно умалчивает; впрочем, ответ неявно присутствует в логике его ана-

Норберт Элиас (Elias, [1939] 1982; [1969] 1983; Элиас, 2001; Элиас 2002), с которым мы встречались в шестой главе, идеально дополняет Бахтина. Как и Бахтин, в своих книгах о манерах он рассматривает неожиданные источники, чтобы проникнуть не только в материальные условия, но и в мышление акторов, о которых, как и об их действиях, в противном случае не осталось бы письменных свидетельств. Элиас показывает, как при все более и более растущем внимании к придворным манерам убывала политическая власть аристократов. Ему также удалось продемонстрировать, как распространение придворных манер от домочадцев аристократов к среднему классу было одновременно и показателем, и двигателем возрастающей способности государств регулировать жизнь своих подданных и прививать им дух лояльности.

И Бахтин, и Элиас делают культуру своим предметом, чтобы объяснить появление и исчезновение у государств и правящих классов возможностей навязывать порядок и устанавливать контроль над незлитами, а у народных групп — возможностей сопротивляться этим требованиям и выстраивать альтернативы. Этим они показывают нам также и пути изучения культуры «на ее собственных условиях», а именно используя неортодоксальные источники и методы и отслеживая изменяющееся со временем взаимодействие способов использования культуры для того, чтобы думать и действовать, а затем создавать новые культурные формы

---

лиза. Коль скоро исходный смысл карнавала и гротеска своим происхождением обязан доклассовому обществу или по крайней мере обществу, в котором между классами не было незыблемых границ, значит, Бахтин, живший и писавший в раннем Советском Союзе, когда классовая власть снова оказалась под вопросом и ощущалось, что строится альтернативное общество, обрел тем самым точку зрения, подходящую для того, чтобы реконструировать схожие возможности в карнавале и гротеске Рабле.

и по-новому интерпретировать прошлые культурные объекты и события. Это взаимодействие Бахтин называет «диалогическим процессом». (С тем же успехом он мог бы обозначить его как «диалектический».) Однако диалог происходит не только между литературными текстами, но также и между культурными творениями и действиями, сказывающимися на социальных отношениях. Последствия этих взаимодействий не проходят бесследно и с течением времени варьируются — именно поэтому написание исторической социологии культуры непременно требует понимания Бахтина и Элиаса.

Восприимчивость ко времени по большому счету отсутствует у Джона Мейера в его теории «мировой культуры». Его работа являет собой удручающий контраст на фоне сложности и чуткости к темпоральным нюансам, отличающих Элиаса, Бахтина и тех современных ученых, которых Адамс с соавторами ставят на первый план. Тем не менее работа Мейера заслуживает упоминания благодаря тому вниманию, которое она привлекла к себе со стороны столь многих социологов (главным образом американских).

Мейер с соавторами (Meyer et al., 1997) выдвигают тезис о том, что существует «мировая культура», которая характеризуется растущим консенсусом и согласованностью в отношении норм, трактующих национальные государства в качестве исключительных легитимных организаций для управления территорией и воплощения национальных интересов. Правительства соотносятся с мировыми культурными нормами, присоединяясь к международным организациям, подписывая друг с другом договоры и создавая национальные институты со все более высоким уровнем изоморфизма. Таким образом, теория Мейера утверждает, что правительства и их граждане все больше начинают разделять веру в мировую культуру, которая обязывает национальные правительства предлагать растущий перечень прав и услуг и на получение благ от которой все больше рас-

считывают граждане, притом что сами они признают свои собственные обязательства перед национальным государством, воспринимаемым ими в качестве конституирующего их индивидуальные идентичности. Согласно Мейеру, эти общие убеждения и сообщают государствам их легитимность начиная с XVII века.

На первый взгляд кажется, что Мейер с соавторами занимаются культурно-исторической социологией, схожей с тем, чем занимались Бахтин и Элиас. Мейер пытается отследить происходящее со временем изменение в культурных убеждениях и практиках и показать, как культура направляет и ограничивает убеждения и поступки акторов. Впрочем, на деле оказывается, что работа Мейера весьма разнится с данным представлением. В отличие от Бахтина и Элиаса, он по-настоящему не рассматривает изменение во времени. В той мере, в какой у Мейера с соавторами представлены эмпирические свидетельства, эти свидетельства относятся к XX веку и сосредотачиваются вокруг принятия правительствами практик и форм, заимствованных у наиболее успешных государств. Этот «институциональный изоморфизм», конечно же, играет некую роль в объяснении, почему современные правительства проводят переписи населения, принимают конституции, присоединяются к международным учреждениям, учреждают министерства образования и — по крайней мере до недавнего времени — имеют национальные авиалинии и флаги. Как бы то ни было, его заявление, что общая культура государств позволяет осуществляться «большему проникновению на уровень повседневной жизни» (Meyer et al., 1997, p. 146), не подкрепляется представленными им свидетельствами, которые полностью сводятся к показу общих черт между государственными символами и организационными схемами. В любом случае его свидетельства из XX века не могут быть использованы для заявлений о том, что подданные в предшествующие столетия считали государства легитимными.

Подход Мейера не задумывался для объяснения различий во времени и пространстве или различий между социальными группами. Подобно теории модернизации, теория «мировой культуры» учитывает (и избирательно изучает) данные, измеряющие только скорость, с которой разные государства движутся к общей цели. Таким образом, в теории Мейера культура утрачивает какую-либо контингентность: ее содержание, значение и причинная роль не подлежат изменению посредством действий или конфликтов классов, групп, индивидов или даже стран. Поэтому неудивительно, что Мейер и его последователи не нуждаются в изучении и не пытаются исследовать, как варьируются или изменяются восприятие и практики национализма, гражданства или социальных прав. Мировая культура становится неким идеальным типом, в отличие от придворной культуры Элиаса или карнавальной культуры Бахтина, которые трансформировались в результате трения, порождаемого различиями представлений и практик этих культур в разные времена и в разных географических и социальных пространствах. Элиас и Бахтин, в отличие от Мейера, теоретически и эмпирически открыты к контингентности.

Некий плодотворный способ изучать культурное изменение в мировом масштабе предлагает Паскаль Казанова (Casanova, [1999] 2004; Казанова, 2003). Ее книга служит образцом исторической социологии культуры. Казанова обращается к историкам литературы и литературным критикам, но метод, который она развивает, является по существу социологическим: она показывает, как писатели и их произведения формируются и читаются в глобальной социальной системе, которая настолько выросла, что охватила некогда автономные локальные и национальные литературы. Ее работа является исторической в том смысле, что ее волнует объяснение того, насколько по-разному и с разной скоростью изменяются в географическом пространстве литературные

формы, а также прояснение того, как эти различия сказываются на индивидуальных литературных карьерах, национальных литературах и динамике мировой литературной системы.

Казанова исследует, как «писатели должны создать условия для своего “появления”, то есть для литературной известности» (Casanova, [1999] 2004, p. 177; Казанова, 2003, с. 202). Однако они стремятся создать эти условия в мире неравенства, мире, в котором отдельные литературы и языки благодаря относительно долгой истории своего существования имеют возможность претендовать на почетную мантию классицизма. Французская, итальянская и английская литературы были первыми литературами на родных языках, которые успешно оспорили господство латыни, а с ним и господство клерикального образа мышления и выражения.

Казанова показывает, как старейшие литературные традиции способны определять условия, в рамках которых оцениваются новые писатели. Критерии литературной значимости задаются в центрах мировой республики литературы, прежде всего в Париже и Лондоне, чьи переводчики и критики решают, какие периферийные произведения достойны перевода на французский и английский языки, универсальные языки литературы. Непереведенные авторы сталкиваются с невозможностью привлечь внимание за пределами своих родных стран. Например, в Соединенных Штатах Фолкнера фактически не знали и не ценили до тех пор, пока за него как великого литературного новатора не вступился Сартр и не устроил перевод его произведений на французский язык. Вслед за этим он получил Пулитцеровскую и Нобелевскую премии. Внимания парижской критики Набоков удостоился сначала за свои русские произведения, переведенные на французский язык. Гао Синцзянь, первый и пока единственный китайский писатель, удостоившийся Нобелевской премии (в 2000 году), является гражданином Франции и живет в Париже.

Казанова (в истинно французской академической манере) пространно (и убедительно) пишет о том, почему именно Париж, а не Лондон или Нью-Йорк, остается литературной столицей мира, несмотря на упадок французской литературы. Власть критиков и переводчиков Парижа усиливается, по ее мнению, его философами литературы — например, Фуко, Деррида и Лаканом, — даже если их идеи отстаиваются главным образом на факультетах литературы американских университетов. Лондон тоже является центром, но только для писателей из бывших британских колоний, и поэтому там не так уж и много переводной литературы. Нью-Йорк, по ее мнению, это просто-напросто коммерческий центр, где переводят и читают лишь немногих иностранных авторов и где на смену истинному новаторству пришел некий «комбинированный показатель» модернизма в художественной литературе.

Стремясь привлечь интерес широкого читателя, авторы этих романов используют все популярные средства, изобретенные еще в XIX веке для приключенческих романов и романов с продолжением. В любом из них можно найти элементы полицейского, авантюрного, любовного, производственного, мифологического, исторического и многих других жанров. Пишутся даже романы о романах по примеру Борхеса (Casanova, [1999] 2004, p. 171; Казанова, 2003, с. 197).

В этом месте вы можете вставить свои собственные примеры такого бастардизированного сочинительства. Казанова же отпускает колкости в адрес Дэвида Лоджа и Умберто Эко.

Писатели с периферии сталкиваются с двойным препятствием: во-первых, их произведения выходят на языках, которые знают лишь немногие иноязычные читатели, а во-вторых, их воспринимают как безыскусных

бытописателей провинции. Немалая часть книги Казанова посвящена выявлению тех методов, которыми пользуются периферийные писатели для развития национальных литературных пространств и для продвижения своих собственных карьер. «Ассимиляционисты» отрываются от национальных корней, национальных тем и родного языка. Обычно эта стратегия не приводит к успеху; эти писатели заканчивают во мраке неизвестности как у себя на родине, так и в литературном центре. В случае же успеха такие писатели становятся голосом периферии в центре, как, например, Найпол.

Вместо этого периферийные писатели могут пойти национально-самобытным путем и попробовать поднять престиж своего писательства, расширяя литературное пространство в своих родных странах. Эта стратегия, развитая немецким писателем Иоганном Гердером в конце XVIII века, начинается с создания классической литературы на родном языке страны. Отчасти это осуществляется посредством перевода великих произведений иностранной литературы, созданием заимствованной классической традиции. Первые авторы нередко консервативны по стилю, и поэтому за границей не привлекают большого внимания. Их жертвой закладывается фундамент для писателей, революционных по стилю: некоторые сочетают высокий язык с просторечием, как, например, Марк Твен, который является изобретателем американского английского как литературного языка. (Рабле совершил тот же подвиг в случае с французским языком, как показал Михаил Бахтин.)

Стоит первому поколению создать национальные литературные ресурсы, как у последующих поколений появляется самостоятельность для того, чтобы оторваться от национально ориентированной модели и развивать новаторские техники, которые «превращают то, что было знаком их литературной (а часто и экономической) бедности, в литературные “ресурсы”, открывают



путь к обновлению» (Casanova, [1999] 2004, p. 328; Казанова, 2003, с. 379). Величайшие первопроходцы XX века (Джеймс Джойс, Уильям Фолкнер, Сэмюэл Беккет, авторы латиноамериканского бума, такие как Гарсия Маркес и Кортасар) перекроили карту мировой литературы. Фолкнер писал о «людях, местностях, ментальностях, характерных для Юга: это сельский мир, с архаическим сознанием, который весь укладывается в рамки своей семьи или своей деревни» (p. 337; с. 389), но выражал это модернистски и новаторски, не в манере реализма. «Своим смелым проектом Фолкнер разрешает противоречия, с которыми сталкивались писатели из обездоленных стран»; за что Джойса признают «писатели, вышедшие из городской среды, зачастую лишенные культурных корней <...> [за то же] Фолкнера ценят прежде всего писатели из сельской местности, где преобладает культурный архаизм» (p. 338; с. 390).

Модель неравного литературного мира, представленная Казанова, позволяет ей проследить пути литературного влияния от особого мира Миссисипи Фолкнера до латиноамериканских поклонников Кастро, Хулио Кортасара и Габриэля Гарсиа Маркеса, от еврейского театра на идише до Кафки, от Джеймса Джойса до американского романиста Генри Рота. Непосредственным следствием признанного и проанализированного в книге Казанова неравенства литературного пространства и времени является то, что «самый традиционный и типичный образ писателя устаревает, творчество [больше не] предстает в чистом виде, без корней и без истории» (Casanova, [1999] 2004, p. 351; Казанова, 2003, с. 405). Это также требует «нового метода интерпретации литературных текстов» (Ibid.). Казанова обеспечивает этот метод и таким образом предлагает радикально новое понимание самобытности и влияния в мире литературы. Она объясняет, как определить пространственно-временные координаты авторов в мировой системе, и показывает, как международная система литературного

производства и потребления повлияла на формирование каждого автора и как лишь немногие из них успели в трансформировании этой системы.

Работа Казанова является исторической в том смысле, что показывает, как неравномерно и несовершенно происходило возникновение мировой системы литературы. Границы и динамика этой системы изменились с момента ее первого появления в эпоху Ренессанса. Своим исчерпывающим анализом писательских дилемм, решений и стратегий Казанова обнаруживает тот факт, что мировая литературная система не расширяется равномерно, а также что траектории писательской карьеры не могут быть поняты в терминах изоморфизма. Более того, новации в мировой литературе неоднократно исходили, как документально подтверждает Казанова, от периферийных языков, литератур и писателей. Литературное новаторство — движущая сила изменения в этой сфере культуры — перешло в центр из периферии; по большому счету это инверсия тех процессов между «верхом» и «низом», которые были обнаружены Элиасом и Бахтиным при изучении распространения придворных манер и подавления карнавальской культуры. И все же все трое прослеживают комплексную историческую динамику, в рамках которой в разные времена и в разных местах культурные идеи и практики выступают в качестве причин и результатов.

Рэндалл Коллинз (Collins, 1998; Коллинз, 2002)<sup>1</sup> исследует источники философского творчества во всем мире с древних времен до наших дней. В отличие от Казанова (в основном потому что его материал относится главным образом к досовременной эпохе), Коллинз приходит к выводу, что великое философское творчество отличается чрезвычайной сконцентрированностью в плане времени и места. Образ Сократа, Платона

<sup>1</sup> У этой тысячестраничной книги есть сорокапятистраничная краткая версия (Collins, 2000).

и их собеседников, лицом к лицу обсуждавших свои идеи в маленьком городе Афины, — это точное отражение почти всех значительных философов в мировой истории, которые творили только там и тогда, где они являлись частью тесных и немногочисленных сетей единомышленников, состоявших в личном общении.

Свой анализ Коллинз строит на всестороннем сравнении сетей философов в Древней Греции и Риме, Китае, Индии, Японии, Ближнем Востоке и нововременной Европе. Он выявляет крупных и второстепенных философов из опубликованных работ по истории философии в каждой из этих стран и приходит к выводу, что творчество подстегивается той эмоциональной энергией, которую философы берут из взаимодействий с единомышленниками. Философы у Коллинза, как писатели у Казанова, зачастую провоцируют величайшие интеллектуальные прорывы, принимая оппозиционную точку зрения в отношении своих современников и непосредственных предшественников. Подобно Казанова, Коллинз исследует немало творческих фигур, чтобы найти закономерные особенности того, как строятся карьеры и как каждый из них позиционирует себя по отношению к представителям своего круга и почитаемым авторам прошлого. И все же его картина философских школ очень отличается от картины литературы Казанова тем, что философы общаются с другими авторами, не выходя за пределы своего непосредственного социального окружения, а с предшественниками — в рамках своей национальной, религиозной или культурной традиции. Авторы у Казанова, напротив, имеют выбор, писать ли для национальной или для глобальной аудитории, и этот выбор играет центральную роль в плане их карьеры и того рода литературы, которую они пишут. Философы у Коллинза должны писать обязательно для представителей своего ближайшего окружения, если они хотят обладать влиянием и выпускать произведения, на которые будут смотреть как на новаторство.

Анализ Коллинза обеспечивает базис для того, чтобы он мог задать и ответить на фундаментальный исторический вопрос о творчестве: почему инновации случаются в конкретные моменты времени в конкретных местах? Отчасти эта движущая сила находится внутри каждой философской традиции: великие философы готовят учеников, которые в свою очередь становятся большими философами, только если могут бросить вызов своим учителям. И все же, как с очевидностью показывает Коллинз, большие философы появляются не в каждом поколении. Для каждого из изученных им районов мира он обнаружил длительные периоды отсутствия каких-либо значительных философов. Инновации вспыхивают от политических и экономических изменений. Это не значит, что философы напрямую отзываются на эти изменения (а если будут отзываться, вряд ли они сами станут большими философами). Точнее говоря, такие общественные изменения разрушают материальные основы интеллектуальных сетей, разделяя существующие школы мысли и/или унифицируя маргинальных и несопоставимых мыслителей, и именно этим и вызывают новые интеллектуальные конфликты и порождают инновации в мысли.

Философское творчество протекало в диалоге с событиями в других интеллектуальных дисциплинах. Купелью новых философских понятий и школ часто была религия. Взаимодействия между исламом, иудаизмом и христианством на Ближнем Востоке и распад мелко-масштабных государств в этом регионе преобразили сети философов и стали толчком для творчества. На Западе философия все больше пересекалась с областью математики, тогда как в остальном мире эти две дисциплины оставались по большей части отдельными. В результате с наступлением того, что Коллинз описывает как «науку быстрых открытий», западная философия претерпела трансформацию. Университеты совсем не обязательно пестовали философские новации: это зависело от того, насколько они были связаны

с церквями и правителями, или от того, как была структурирована их автономия. Сегодняшние университеты, как и университеты Средневековья, могут производить не только творчество, но в равной мере и стагнацию со схоластикой.

Сосредоточение Коллинза на выявлении сетей философов и на прослеживании их существования во времени обеспечивает базис для установления того, как присутствие членов этих сетей в университетах, в церквях или при королевских дворах сказывается на общей сплоченности и динамичности сети, а стало быть, и на возможностях интеллектуального творчества. Подобным же образом пробуждение интереса популярных издателей и публики к литературной философии (и к философской литературе) в Германии XIX века, и даже еще решительнее во Франции XX века, создает новые сети и открывает новые перспективы для размежеваний философов. Коллинзовское описание Франции XX века во многих своих деталях схоже с описанием Казанова, причем в обоих случаях ведущую роль зачастую играют одни и те же авторы (прежде всего Жан-Поль Сартр). Как бы то ни было, внимание Коллинза к сетям и личным связям сосредотачивает его анализ на локальной и национальной конкуренции за престиж и удаляет от глобальной конкуренции, являющейся центральной движущей силой в анализе Казанова.

Теории Казанова и Коллинза не стоит противопоставлять друг другу. Скорее, их авторы исследуют разные интеллектуальные поля, поэтому-то и неудивительно, что они обнаруживают разную динамику. На самом деле их методы комплементарны: Коллинз показывает, как интеллектуальные новации и дебаты набирают силу начиная с микроуровня, и поэтому его подход наилучшим образом годится для прослеживания того, каким образом макроизменения в политической экономике, государствах, религии и широкой аудитории сказываются на философских диспутах. Казанова озабочена главным

образом динамикой всего глобального поля литературного производства и ранжирования репутаций в целом. Она наблюдает, как отдельные авторы, идентифицирующие себя с национальной литературой или же противопоставляющие себя ей, продвигают и свои личные, и коллективные интересы, причем в том, как меняется динамика явления, которое она представляет единой, несмотря на ее неравномерность и неравенство, мировой системой производства литературы и литературного престижа, внешние факторы играют ограниченную роль.

И Коллинз, и Казанова написали чрезвычайно амбициозные работы, являющиеся итогами десятилетий чтения и анализа. Необязательно предпринимать такой масштабный труд, чтобы внести достойный вклад в историческую социологию культуры или привнести культурологический анализ в историческую социологию государства, класса или других тематических областей. Впрочем, важно признать, как это делают Коллинз и Казанова, что в исторически контингентных цепях событий культурные представления и творения занимают свое место. Первый шаг в объяснении того, как создается произведение культуры или как понимается и живет культура, состоит в том, чтобы поместить этот продукт или это представление в исторический контекст. Только тогда возможно произвести динамический анализ тех взаимодействий культуры и структуры, восприятия и действия, в которых Адамс, Клеменс и Орлофф видят характерную черту лучших работ третьей волны исторической социологии и которые полноценно освещены в остальных работах, разобранных нами в этой главе.

## ГЛАВА 9. ПРЕДСКАЗЫВАЯ БУДУЩЕЕ

Приемы построения контингентного исторического анализа, применявшиеся в тех лучших работах, которые были разобраны нами в предыдущих главах, также могут быть использованы для конструирования контрфактических историй, позволяющих нам более точно оценить причинную силу разных социальных факторов. В свою очередь, такой контрфактический анализ может быть использован для взвешенных предсказаний о будущем изменении и для конкретизации того, как возможные в будущем события (такие как увеличение численности населения, глобальное потепление, технологические инновации или перемены глобальной власти) скажутся на государствах, социальных движениях, культуре, семье и гендере. Другими словами, историко-социологический анализ может быть обращен к изучению будущего.

Контрфактическая история становится все более популярной интеллектуальной забавой — игрой, в которую, к сожалению, часто играют, уделяя мало внимания тем социальным силам и сдерживающим факторам, которые действительно определяют исходы войн, политических конфликтов или другие поворотные точки в истории. Как бы то ни было, «неустранимой частью ремесла историка [и исторического социолога] является мышление о нереализованных возможностях — судить о возобладавших силах мы можем, только сравнивая их с теми силами, которые потерпели поражение. Все историки, сколько бы причинных суждений они ни выносили, занимаются спекуляцией (созерцанием), рисуют в уме альтернативное развитие событий, даже когда эти альтернативы не высказываются явным образом» (Logevall, 1999, p. 395).

В первой главе мы видели, что Валлерстайн (Wallerstein, [1986] 2000; Валлерстайн, 2006) занимается именно этой разновидностью анализа, задаваясь вопросом, что было бы, если бы Франция преуспела в колонизации южной Индии. Он предположил, что Индия — вместо того чтобы быть целостной политической единицей, национальной идентичностью и исторической темой, — оказалась бы двумя странами, которые, как считали бы историки, еще до колонизации имели свои особые культуры и траектории. Валлерстайн использовал это контрфактическое предположение, чтобы показать, что национальная идентичность не предшествует образованию (зачастую посредством колонизации и последующего сопротивления иностранному правлению) государства, а следует за ним.

Пример того, как использовать контрфактический анализ для установления причинной силы, связанной с разными переменными, показывает Цейтлин (Zeitlin, 1984), которого мы обсуждали во второй главе. Относительную отсталость экономического развития Чили и скатывание страны к статусу полупериферии мировой экономики он объясняет результатом поражения промышленных капиталистов в двух гражданских войнах. В подтверждение своего вывода Цейтлин выдвигает контрфактический аргумент, показывая, какую политику избрали бы проигравшие в тех гражданских войнах, если бы у них была власть, а также последствия этой политики для развития Чили. Он использует контрфактический анализ, с целью показать, что, окажись итог этих гражданских войн иным, у Чили имелся бы потенциал для того, чтобы стать капиталистической экономикой ядра. Это позволяет ему сделать вывод, что решающий фактор формирования социально-экономического развития Чили был образован благодаря не какому-то заранее заданному положению Чили в мировой системе, а благодаря внутригосударственным классовым силам и итогу гражданской войны.



Нам нужно помнить, что анализ Цейтлина, подобно любой выверенной контрфактической истории, учитывает темпоральную специфику. Цейтлин доказывает, что Чили могла пойти по иному пути экономического развития существовала только в определенные исторические моменты. Как только буржуазные силы потерпели поражение в обеих гражданских войнах, возможность для страны вырваться за пределы своего полупериферийного положения в мировой экономике была утрачена по крайней мере на целое столетие. (Сможет ли Чили в настоящее время или в ближайшем будущем стать развитой экономикой — вопрос, на который нельзя ответить с помощью цейтлиновских контрфактических утверждений о XIX веке.) Цейтлин полагает, что его контрфактический анализ Чили — это вызов миросистемной теории, шире говоря — что он опровергает детерминизм миросистемной теории, предъявив этот единственный пример альтернативных возможностей. Такую теоретическую заявку Цейтлин может сделать именно потому, что его исторический анализ выполнен достаточно тщательно, чтобы выявить специфические ключевые поворотные точки, а тем самым и те причинные силы, которые в данном случае имеют значение.

Чаще всего контрфактическая история используется для подтверждения или опровержения исторической теории «великих личностей», когда исследователи предаются спекуляциям на тему того, что было бы, если бы Александр Великий дожил до шестидесяти девяти лет, а не умер в тридцать три (Тоупбеэ, 1969; Тойнби, 1979), или если бы Улисс Грант умер в мае 1863 году, то есть до того, как он привел Союз северных штатов к его решающим победам (Kantor, 1961), или если бы Джон Кеннеди не был убит и пробыл президентом два срока (Kunz, 1997; Logevall, 1999). Проблема большинства гипотетических утверждений в духе теории «великих личностей» состоит в том, что они просто утверждают (вместо того, чтобы анализировать), что структурные препятствия

к осуществлению социальных изменений могли бы быть преодолены неким отдельно взятым лидером, или доказывают, не прибегая при этом к оценке причинной значимости других факторов, что личные недостатки лидера помешали некоему исходу, который в противном случае был бы вероятным. Например, Тойнби гипотетически утверждает, что Александр, благодаря силе своей личности и стратегическому гению, мог бы построить и сплотить империю, охватывающую всю Азию и Ближний Восток, преодолев тем самым этнические и национальные идентичности, а следовательно, подорвав основания для будущих войн. Гипотетические утверждения Тойнби несоциологичны в том смысле, что он игнорирует ту инфраструктурную ограниченность древних политий, которая фактически привела к невозможности для империй, подобных империи Александра, поддерживать военную силу или структуры гражданской администрации, необходимые для построения сплоченной политики.

Подобным же образом Кантор, сосредотачивая внимание на одном единственном генерале, игнорирует тот факт, что Конфедерация к 1863 году страдала от упадка боевого духа, массового дезертирства и недостатка провианта. Даже победа южан в битве при Геттисберге не смогла бы в достаточной мере оживить боевой дух и пересилить нехватку материальных средств в войсках конфедератов. Когда полководческое умение одного человека ставится выше организационной и материальной обеспеченности армий, то этим игнорируются те факторы, которые действительно определяют исходы войн. Контрфактические утверждения Тойнби и Кантора — это просто-напросто пространные фантазии, и, в отличие от работы Цейтлина, они не способствуют лучшему пониманию тех причинных сил, которыми определяется исход дела в особые исторические моменты, а потому они и не годятся для выведения обобщений относительно социальных изменений.

Кунц и Логеволл пытаются ответить на один и тот же контрфактический вопрос: если бы президент Джон Кеннеди не был убит, послал ли бы он войска во Вьетнам и «американизировал» бы ту войну? Эти ученые дают очень разные ответы; впрочем, в процессе конструирования своих расходящихся контрфактических предположений они способствуют лучшему пониманию тех факторов, которые обязательно надо исследовать, чтобы обрисовать пределы контроля отдельного президента над американской внешней политикой. Согласно анализу Кунц Вьетнам — это еще одна демонстрация пределов политической автономии всякого отдельного лидера. Джонсон, как мы теперь знаем по записям из Овального кабинета, воспоминаниям помощников и документам, разрывался между своими опасениями, что эскалация в конечном итоге приведет к катастрофе, и убежденностью в том, что результатом «потери» Вьетнама станет его проигрыш в 1964 году или последующий импичмент. По мнению Кунц, Кеннеди, избранный президентом в 1960 году на платформе милитаризма и обвинений в фиктивном «ракетном отставании» эпохи холодной войны, точно так же столкнулся бы с жесткими политическими последствиями, если бы попытался вывести войска из Вьетнама после своего переизбрания в 1964 году. Согласно анализу Кунц американские президенты лишь в ограниченной степени способны были менять общественное мнение, которое тогда придерживалось агрессивного антикоммунистического внешнеполитического курса; это же верно и в отношении способности бросить вызов давним интересам и бюрократической власти ключевых групп, прежде всего военных, которые стремились блокировать любой откат от приверженности американскому курсу за границей.

Логеволл сосредотачивает свое внимание на реальном процессе принятия решений президентами и их советниками. В отличие от Кунц, гораздо больше несогласия с отправкой американских войск во Вьетнам он

обнаруживает среди чиновников исполнительной ветви и в Конгрессе. Логеволл, основываясь на своем анализе заявлений и документов, излагающих позиции политиков и государственных официальных лиц в переломные 1963–1965 годы, утверждает, что решение по выводу войск из Вьетнама, не вызвав значительного сопротивления со стороны американских военных, Государственного департамента или Конгресса, мог бы принять либо Кеннеди, либо Джонсон — даже несмотря на то, что это вылилось бы в победу коммунистов. Логеволл считает, что конфиденциальные документы или публичные заявления были точным отражением действительных взглядов акторов, а следовательно, с их помощью можно предсказать те политические позиции, которые занимали бы акторы, реагируя на последующие события. Кунц избирает иной подход, прогнозируя будущие гипотетические публичные позиции как отражение давних политических и институциональных интересов, и поэтому приходит к противоположному заключению.

Очевидно, что вместе взятые противоположные контрфактические утверждения Логеволла и Кунц не позволяют ответить на вопросы, что в отношении Вьетнама предпринял бы Кеннеди во второй срок своего президентства и был ли Джонсон зачинщиком войны или, скорее, пассивной жертвой геополитических сил, запущенных задолго до того, как он стал президентом. Как бы то ни было, позиция двух этих авторов служит тому, что на первый план выдвигаются именно те факторы, которые и должны стоять в центре исследований об истоках войны США во Вьетнаме в частности и о формировании американской внешней политики в общем. Благодаря Кунц мы понимаем необходимость прояснения того, как и в какой мере общественное мнение сказывается на политических решениях. Ее утверждение, что ни Кеннеди, ни Джонсон не смогли бы отказаться от этой войны, показывает необходимость прояснения

этапов и причинно-следственной направленности взаимодействия между президентской поддержкой (*presidential advocacy*), формированием политического курса, реализацией политического курса и общественным мнением. Контрфактическое утверждение Логеволла показывает важность точного определения того, как конфликтующие интересы элит и институциональные требования выливаются в политический курс и как и когда президенты оказываются способны воспользоваться размежеваниями подобных групп интересов, неуклонно проводя свою собственную излюбленную политику. Оба эти контрфактических утверждения представляют в ясном свете, но не решают фундаментальный вопрос о том, каким относительным весом в формировании политического курса обладали собственные предпочтения президента, общественное мнение, интересы элит и институциональные интересы. Впрочем, если в будущем мы сможем решить этот вопрос относительно войны во Вьетнаме, мы усилим свой аналитический арсенал при рассмотрении и решении похожих вопросов, касающихся политических решений в другие моменты истории США, а также создадим новую рубрику для постановки подобных вопросов, затрагивающих процесс принятия политических решений в других государствах.

Как мы увидели на страницах этой книги, большинство поворотных точек истории не является результатом решений отдельных лидеров. Напротив, историческое изменение создается, скорее, серией контингентных действий множественных акторов, зачастую в сочетании с событиями и явлениями, неподконтрольными человеку, такими, например, как экономические и демографические циклы. Контрфактические утверждения позволяют нам увидеть, на самом ли деле актерам в ключевых поворотных точках открывались другие варианты. Наблюдая следствия этих альтернативных решений, мы можем точнее оценить масштаб изначальной поворотной точки. В конце третьей главы мы разбирали

работу Маркоффа (Markoff, 1996b) о Великой французской революции. Он показал, что решение Национального собрания об отмене феодализма не было очевидным ответом на явные требования бунтующих крестьян. Скорее, Национальное собрание отзывалось на неявные сигналы, и его законотворческая деятельность не слишком помогла в успокоении крестьянства. Маркофф не детализирует другие возможные законодательные ответы; не проясняет он также и следствия альтернативной политики подобного рода с точки зрения позднейшего политического или социально-экономического развития Франции. И все же его тщательный и подробный анализ крестьянских жалоб, динамики народных протестов и внутренней политики Национального собрания служит основой для конструирования контрфактического утверждения подобного рода. Конечно же, эти альтернативные пути остались не пройдены. Впрочем, наблюдая последствия такой политики, мы смогли бы точнее указать, как эти реальные решения послужили ограничению простора для позднейшей активности крестьян и других акторов, создавая при этом благоприятные возможности для тех, кто направил Францию по путям, ведущим совсем не в том направлении, какое могло бы открыться, если бы законодательные ответы на крестьянские восстания были иными.

Модель выявления практически осуществимых альтернативных политических путей и построения затем аргументации, касающейся последствий освоения этих неизведанных перспектив, дает Бэррингтон Мур (Moore, 1978, p. 376–397). Мур доказывает, что поражение Германии в Первой мировой войне и восстание рабочих в конце войны настолько ослабили старый режим, что Социал-демократической партии Германии не нужно было идти на те компромиссы с армейской и прочими элитами, на которые она пошла. Объективные условия для образования либерального социалистического государства, которое могло бы обладать

силой, чтобы противостоять нацистскому вызову десятилетием спустя, уже существовали. «В 1918 году у социал-демократов был выбор и была возможность. Они же и не увидели этого, и не воспользовались этим, потому что оказались неспособны к этому в силу своего исторического опыта» (Ibid., p. 394). Искушенность Мура в контрфактической истории позволяет ему конкретизировать ту роль, какую партийные лидеры сыграли в формировании облика германского государства, и выявить те биографические и исторические факторы, в силу которых данные лидеры остались слепы к открытым для них реальным возможностям. Огромным вкладом Мура — и это должно быть одной из принципиальных целей контрфактической истории — является не только прояснение альтернатив, но и выявление тех факторов, из-за которых современники оставались слепы в отношении этих альтернативных (и потенциально более плодотворных) путей или же не были готовы их принять.

Контрфактические утверждения похожи на те анализы негативных случаев (Emigh, 1997a), с которыми мы встречались в прошлых главах, или на «метод различия» Джона Стюарта Милля, где «сопоставляются случаи, в которых присутствуют подлежащие объяснению феномены и гипотетические причины, с другими (“негативными”) случаями, в которых эти феномены и причины отсутствуют, притом что в прочих отношениях они максимально схожи с “позитивными” случаями» (Skocpol and Somers, 1980, p. 183). Во всех этих методах спрашивается, почему факторы, которые могли бы привести к некоему конкретному исходу (капитализму в Тоскане эпохи Возрождения, стабильному социал-демократическому правительству в Германии после Первой мировой войны или социальным революциям в Англии или Японии), так и не стали реальностью. Подобным же образом межвременной анализ — это способ показать, как нечто (переход к капитализму, введение

социальных программ, таких как всеобщее страхование здоровья в США) долгое время может не случаться, а потом внезапно оказывается случившимся. В этих случаях мы не занимаемся контрфактическим анализом, так как событие случается на самом деле; однако мы имеем возможность увидеть, что изменилось непосредственно перед этим событием, и таким образом выявить причины или последовательность контингентных событий, вызвавших данный исход.

Прогнозирование будущего изменения может быть понято как проспективная контрфактическая история. Сделанное с аналитической тщательностью, предсказание позволяет нам проследить воздействия специфических изменений на другие аспекты социальной структуры и уточнить, как этими изменениями открываются или закрываются благоприятные возможности для дальнейшей активности. Проиллюстрируем это, кратко рассмотрев три текущие фундаментальные трансформации, которые я особо упомянул в самом начале этой книги: 1) глобальное потепление, 2) спад труда и 3) одновременный рост неравенства в западных государствах и сокращение разрыва между этими государствами и некоторыми некогда бедными странами в остальных частях света. Цель этой книги не состоит в том, чтобы действительно предсказать последствия каждого из этих изменений; для этого мне потребовалось бы написать отдельную книгу. Скорее, мое намерение состоит в том, чтобы конкретизировать задачи, необходимые для такого рода анализа, и показать, что они схожи с задачами, за которые исследователи брались в лучших работах по исторической социологии, рассмотренных нами в предыдущих главах.

*Глобальное потепление* (в сочетании с прогнозируемым 50%-ным увеличением мирового населения в XXI веке) создаст повсеместный дефицит продовольствия, воды и других ресурсов, сделает некоторые части земного шара непригодными для обитания и станет



причиной беспрецедентной по своим масштабам миграции населения, когда люди будут спасаться из охваченных засухой и наводнениями районов в поиске пригодной для обитания земли и других жизненно важных ресурсов. Как эти изменения скажутся на социальной структуре? Для кого они откроют или закроют возможности эффективного действия? Если мы хотим понять последствия этой грядущей реальности, нам нужно сначала выявить затрагиваемые группы, а затем предсказать их реакции. Так как на одних регионах мира глобальное потепление скажется сильнее, чем на других, нам необходимо исследовать, каким может быть отклик различных классов, регионов или национальных государств на те конкретные формы, в каких их затронет экологический кризис.

Темпоральность здесь не менее важна, чем физическая и социальная география. Глобальное потепление не получится повернуть вспять. Напротив, физическая реальность нехватки ресурсов и экологических катастроф не исчезнет и будет только усиливаться (хотя острота этой проблемы может быть ослаблена в результате катастрофической убыли населения). Впрочем, тот социальный порядок, на который будет воздействовать эта физическая реальность, сам будет изменяться со временем. Жизненно необходимо пошагово разметить подрывные изменения и отклики социума и выстроить контингентные цепочки изменения так же, как это сделано историческими социологами для событий прошлого.

Например, коль скоро одним из ближайших следствий глобального потепления станут массовые миграции, нам необходимо оценить влияние, оказываемое подобными миграциями на те государства, на территории которых осели бы беженцы. Ослабнут ли эти государства от притока людей или же озлобление местных жителей против иммигрантов приведет к росту национализма и усилению способности этих государств сдерживать потоки беженцев? Подобным же образом

не каждое государство в одинаковой степени пострадает от ресурсного дефицита. Смогут ли богатые с точки зрения ресурсов государства выгодно использовать свои преимущества или же они станут мишенями для атаки? Изменится ли со временем потенциал этих государств и если да, то каким образом? Смогут ли бедные с точки зрения ресурсов государства с могучей военной силой захватить ресурсы более слабых государств? Для предсказания будущего потребуется нечто большее, чем просто ответы на эти вопросы. Помимо этого мы обязаны проследить, каким образом исходные изменения (например, мобилизуются ли люди, стремящиеся или пытающиеся защищать ресурсы, по классовым, этническим или национальным признакам или у них вообще не выходит самоорганизовываться) формируют их дальнейший потенциал, последующие стратегии и потенциал различных институтов предпринимать эффективное действие.

Когда мы пытаемся ответить на эти вопросы, мы занимаемся проспективными контрфактическими предположениями, оценивая, как изменились бы государственный курс, государственный потенциал, экономика, демография и коллективные идентичности наций от одной изменившейся переменной — в данном случае глобального потепления и его последствий. Наши ответы позволяют нам взвесить силу и мощь причинных факторов в каких-то особых ситуациях: например, чтобы установить, как миграция сказывается на национальной идентичности, на том, в какой степени национализм формирует государственный курс, и на эффективности военной мощи в обеспечении безопасности и охраны природных ресурсов.

Предложенный Джеймсом Махоуни (Mahoney, 2010) анализ того, как испанское завоевание Америки сказалось на социальных отношениях и последующем экономическом развитии (мы разбирали его в четвертой главе), является моделью, показывающей, как провести

пошаговый проспективный анализ тех социальных последствий глобального потепления, которые мы только что обрисовали. Вспомним, что Махоуни начал с изучения разных социальных структур, существовавших в Америке до испанского завоевания. Подобным же образом прогнозы относительно последствий глобального потепления следовало бы начинать с оценки организационного и мобилизационного потенциала институтов и акторов до начала экологического кризиса. Точно так же, как Махоуни поэтапно отслеживал институциональное изменение и стремился выявить ключевые события, сдвинувшие отдельные латиноамериканские государства с колеи развития, заданной сочетанием доколумбовой социальной структуры и испанской колониальной политики разных эпох, так и нам понадобилось бы выявить события (войны, революции, коллапсы государств, сдвиги в структуре мировой экономики), которые бы столкнули государства, классы и других акторов с пути, обусловленного их первоначальным откликом на экологическую катастрофу.

*Спад труда*, когда — вслед за обрабатывающей промышленностью и сельским хозяйством — замена работников машинами приходит и в сервисную сферу (Collins, 2013; Brynjolfsson and McAfee, 2012), не в одинаковой мере повысит уровень безработицы среди классов и стран. Страны в разной степени будут способны компенсировать недостаток рабочих мест на капиталистических предприятиях созданием рабочих мест в государственном секторе, обеспечением правительственной поддержки раннему выходу на пенсию или продлением срока школьного обучения молодежи. В то же время безработные и частично безработные по-разному отзовутся на свое затруднительное положение, как в прошлом это уже бывало с теми, кто оказывался в нищете и без работы. Эти отклики могут быть разными, начиная от пассивного принятия (зачастую сопровождаемого алкоголем и наркотиками и/или насилием, обращенным на самих себя, семью и сообщество) и кончая политиче-

скими требованиями о предоставлении материальной помощи и рабочих мест, адресатами которых могут быть разные структуры (частные работодатели, локальное территориальное образование либо национальное государство или другие этнические, национальные или религиозные группы, рассматриваемые в качестве конкурентов в вопросах занятости).

Если безработным удавалось добиться уступок, тогда сам масштаб программ, разработанных для создания рабочих мест или оказания материальной помощи, вызывал реструктуризацию всей экономики и создавал новый политический электорат для поддержания программ такого рода. Таким образом, будущий потенциал самоорганизации безработных, рабочих, капиталистов и государственных чиновников и те признаки, по которым они будут размежевываться или сплачиваться, изменятся в той мере, в какой безработные окажутся способны заставить решить проблему вызванной технологическим прогрессом (и поддерживаемой капиталистами) массовой безработицы.

В поиске моделей того, как анализировать это возможное будущее, мы можем обратиться к тем историческим социологам, которые уже изучили истоки и вариативность социальных программ. Как те ученые, с которыми мы встретились в пятой главе, стремились взвесить относительную значимость государственного потенциала, народной мобилизации и сплоченности капиталистического класса при установлении межстрановых различий в системах социального обеспечения, точно так же и нам понадобилось бы оценить эти факторы и попробовать просчитать, как они изменились бы в условиях растущей массовой безработицы. В дебатах о социальных пособиях и льготах центральным является вопрос, становятся ли (и каким образом) данные пособия и льготы — и общая структура социального государства — замкнутыми, тем самым подготавливая почву для введения новых пособий в последующие

времена. Эспинг-Андерсен, Скочпол и другие исследователи по-разному отвечают на этот вопрос; впрочем, все они признают необходимость рассмотрения того, как институционализация социальных пособий и льгот сказывается на государственном потенциале, на организации политической жизни (включая партии, выборы и политические идеологии), на структуре и культуре домохозяйств и семей и на общей организации экономики (включая степень ее декоммодификации и ее место в капиталистической миросистеме). Подобным образом нам понадобилось бы взглянуть на тот же набор факторов, если бы мы захотели понять, как массовая безработица скажется на разных обществах, и в особенности предсказать, каковы будут отклики и как тогда эти отклики преобразят дальнейшую политическую жизнь и социальные отношения. Сегодняшние социальные государства — это продукты цепи контингентных изменений; будущий мир с меньшим количеством рабочих мест и разнообразными государственными программами для решения проблемы массовой безработицы возникнет и преобразится также благодаря серии взаимодействий между социальными акторами и социальными структурами. Обе стороны этого отношения должны быть выявлены, а их меняющиеся идентичности и потенциал — полностью конкретизированы.

*Рост неравенства* за минувшие три десятилетия во многих странах Европы и Северной Америки (Запада) — одновременно с сокращением громадного разрыва в доходах между Западом и остальным миром — несет в себе потенциальную возможность (в особенности в сочетании с ресурсным дефицитом и массовой безработицей) переупорядочения идентичностей и сдвига границ социальной солидарности и конфликтов внутри стран. Сначала мы хотели бы выявить те социальные группы, которые уже обрели или утратили (и по-прежнему будут обретать или утрачивать) относительное положение с точки зрения доходов и богатства. После этого нам

понадобилось бы сравнить страны, чтобы увидеть, где неравенство становится шире, а где уже. Имея подобную глобальную сравнительную картину изменений неравенства, мы были бы в состоянии рассмотреть, как эти изменения скажутся на положении дел с идентичностью и солидарностью.

Подход, избранный Шаниным, Эмай и Селеньи с его коллегами (их мы обсуждали в шестой главе), предлагает вариант изучения последствий будущих изменений в неравенстве как внутри стран, так и на международном уровне. Данные исследователи показывают, как индивиды, семьи и социальные группы справлялись с внезапными переменами в доходах и богатстве. Их труды особенно хороши для рассмотрения этой проблемы, потому что они прослеживают, каким образом сочетание индивидуальных и семейных стратегий переупорядочивает политическую жизнь и классовые отношения, в то же время показывая, как эпохальные сдвиги в политической экономии общества вызывают индивидуальные и коллективные отклики. И все же их исследования посвящены в случае Шанина отдельно взятой стране (России), а в работе Селеньи — сравнению внутренней динамики ряда стран, без обращения к тому, как сдвиги глобальной позиции одной единственной страны сказываются на классовой и прочих групповых идентичностях и действиях внутри ее границ. Иными словами, их анализы не обращаются к вопросу о том, как группы или индивиды отзываются на двусторонний ход изменений внутри их страны и в мировой экономике.

Валлерстайн и Арриги, миросистемный подход которых мы разбирали во второй главе, обращаются к рассмотрению источников и последствий сдвига позиций стран в миросистеме. Арриги (Arrighi, 2007; Арриги, 2009) как раз интересуется объяснение того, как постепенное превращение Китая в ядро миросистемы сказывается на классовой динамике и государственной системе в этой стране. Внутренние последствия заката США

обсуждаются им более поверхностно, и поэтому он мало что может сказать о том, как этот закат сказывается на американской политической жизни. Это проблема миросистемного анализа, выделенная Цейтлиным: недостаток внимания (или недостаточное признание самой этой возможности) тому, какой вклад внутренняя динамика может внести в изменение положения страны в миросистеме. Таким образом, мы можем обратиться к Арриги, чтобы понять подъем Китая в мире, так как действия этого государства в качестве восходящего гегемона составляют неотъемлемую часть функционирования самой миросистемы. И наоборот, закат США или закат малых стран ядра, и в особенности реакция групп, принимающих на себя основной удар, видится скорее следствием, нежели причиной в миросистемной динамике. В результате миросистемные аналитики не замечают того, что от происходящих сдвигов в глобальной экономике национализм и государственная власть могут не ослабеть, а усилиться, а следовательно, не замечают потенциальных зон возникновения откликов и негативных реакций на неравенство. Когда мы пробуем предсказать последствия изменений в неравенстве внутри стран и на международном уровне, нам нельзя ограничиваться непосредственными последствиями этого процесса для тех, чьи позиции укрепляются или ослабевают, как это сделали бы исследователи «достижения статуса». Также нам нужно допускать возможность того, что событийное изменение начинается вдали от мест, где неравенство обостряется или смягчается.

Урок, который мы должны извлечь из нашего разбора сравнительно-исторической социологии, состоит в том, что всякое изучение изменения (будь то историческое или перспективное) обязательно должно быть сосредоточено на поиске времени и места эффективного действия. Часто они обнаруживаются на определенном удалении от средоточий существующей власти и вне круга центральных движущих сил, производящих главные

события данного момента. Путь от причины к действию зачастую долог и почти всегда имеет контингентный характер. Задача сравнительной исторической социологии состоит в том, чтобы проследовать этим путем. Это-то как раз и сделано в лучших работах об истоках государств, капитализме и системе социальных пособий и льгот. Это то, благодаря чему мы стали понимать возникновение, развитие и последствия империй, социальных движений и революций. Это то, как мы обрели более полное понимание исторических изменений, коснувшихся гендера, семей и тех культурных каркасов, посредством которых мыслят и действуют социальные существа. Именно этот подход позволит нам сделать строгие предсказания относительно того, как экологические катастрофы, технологическое изменение, геополитические сдвиги, растущая способность обладателей богатства и власти укреплять свои позиции или непредвиденные случаи мобилизации народных сил запустят причинно-следственные цепи, которые, возможно, окончатся неожиданным и непредсказуемым образом.

Историческая социология не имеет какого-то своего отдельного предмета. Скорее, она — это некий способ заниматься социологией, признающий изменения истинным предметом этой дисциплины. На страницах этой книги мы увидели, что изменения и их причины могут быть объяснены с использованием множества разнообразных методов: контрфактической истории, разбора конкретных случаев, анализа негативных случаев, межвременного и межстранового анализа. Какой метод будет наилучшим — зависит от того, какая проблема изучается и какие теоретические вопросы затрагиваются. Безотносительно используемого метода лучшие работы объединены общим вниманием к темпоральности — пониманием того, что решающее значение для объяснения причинной связи имеет сам момент, когда нечто случается, то есть место этого в последовательности событий.



## ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ?

За два столетия, прошедшие с тех пор, как Маркс, Вебер, Дюркгейм и их современники создали эту дисциплину, многочисленные ученые — не только социологи, но и представители других областей — преуспели в создании более точных и более полных объяснений целому ряду исторических изменений, придавая темпоральную глубину тем зачастую статичным способам, посредством которых формулируются проблемы во многих подобластях социологии. Методологические приемы и разносторонняя восприимчивость исторической социологии позволяют использовать ее для переосмысления трактовок старых проблем и для обращения к неизученным и недостаточно изученным моментам социального изменения — прошлым, настоящим и будущим.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Андерсон, Бенедикт (2001) *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле.

Андерсон, Перри (2010) *Родословная абсолютистского государства*. М.: Территория будущего.

Арриги, Джованни (2007) *Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени*. М.: Территория будущего.

Арриги, Джованни (2009) *Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век*. М.: Институт общественного проектирования.

Бродель, Фернан (1993) *Динамика капитализма*. Смоленск: Полиграмма.

Бахтин, Михаил (1990) *Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса*. М.: Художественная литература.

Валлерстайн, Иммануил (2006) "Существует ли в действительности Индия?", *Логос* № 5 (56), с. 3–8.

Вебер, Макс (1990) "Протестантская этика и дух капитализма", в: Макс Вебер. *Избранные произведения*. М.: Прогресс.

Гарр, Тед Роберт (2005) *Почему люди бунтуют*. СПб.: Питер.

Казанова, Паскаль (2003) *Мировая республика литературы*. М.: Издательство им. Сабашниковых.

Коллинз, Рэндалл (2002) *Социология философий: Глобальная теория интеллектуального изменения*. Новосибирск: Сибирский хронограф.

Лахман, Ричард (2010) *Капиталисты поневоле*. М.: Территория будущего.

Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих (1957) *Сочинения*. Т. 8. М.: Госполитиздат.

Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих (1960) *Сочинения*. Т. 23. М.: Госполитиздат.

Тилли, Чарльз (2009) *Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг.* М.: Территория будущего.

Тойнби, Арнольд (1979) “Если бы Александр не умер тогда...” *Знание — сила* № 12 (630), с. 39–42.

Токвиль, Алексис де (1992) *Демократия в Америке*. М.: Прогресс.

Элиас, Норберт (2001) *О процессе цивилизации*. М.: Университетская книга.

Элиас, Норберт (2002) *Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной аристократии*. М.: Языки славянской культуры.

Aaronson, Daniel, and Bhashkar Mazumder (2007) “Intergenerational Economic Mobility in the U.S., 1940 to 2000,” Federal Reserve Bank of Chicago, [www.chicagofed.org/digital\\_assets/publications/working\\_papers/2005/wp2005\\_12.pdf](http://www.chicagofed.org/digital_assets/publications/working_papers/2005/wp2005_12.pdf) (retrieved August 7, 2012).

Abbott, Andrew (1992) “What Do Cases Do? Some Notes on Activity in Sociological Analysis”, p. 53–82 in *What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry*, ed. Charles C. Ragin and Howard Saul Becker. Cambridge: Cambridge University Press.

Abrams, Philip (1980) “History, Sociology, Historical Sociology”, *Past & Present*, no. 87: 3–16.

Abrams, Philip (1982) *Historical Sociology*. Shepton Mallet, Somerset: Open Books.

Adams, Julia (2005) *The Familial State: Ruling Families and Merchant Capitalism in Early Modern Europe*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Adams, Julia, Elisabeth Clemens, and Ann Shola Orloff (2005) *Remaking Modernity: Politics, History, and Sociology*. Durham, NC: Duke University Press.

Aminzade, Ronald (1992) “Historical Sociology and Time”, *Sociological Methods and Research*, 20: 456–80.

Anderson, Benedict ([1983] 1991) *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.

Anderson, Perry (1974) *Lineages of the Absolutist State*. London: New Left Books.

Arrighi, Giovanni (1994) *The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of our Times*. London: Verso.

Arrighi, Giovanni (2007) *Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century*. London: Verso.

Aston, T. H., and C. H. E. Philpin (1985) *The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.

Aymard, Maurice (1982) "From Feudalism to Capitalism in Italy: The Case that Doesn't Fit", *Review*, 6(2): 131–208.

Bakhtin, Mikhail ([1965] 1968) *Rabelais and his World*. Cambridge, MA: MIT Press.

Barkey, Karen (2008) *Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.

Barkey, Karen, and Mark von Hagen, eds (2008) *After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman and Habsburg Empires*. Boulder CO: Westview Press.

Bearman, Peter S., and Glenn Deane (1992) "The Structure of Opportunity: Middle Class Mobility in England, 1548–1689", *American Journal of Sociology*, 98(1): 30–66.

Becker, Jaime, and Jack A. Goldstone (2005) "How Fast Can You Build a State? State Building in Revolutions", pp. 183–210 in *States and Development: Historical Antecedents of Stagnation and Advance*, ed. Matthew Lange and Dietrich Rueschemeyer. New York: Palgrave Macmillan.

Berkner, Lutz K. (1978) "Inheritance, Land Tenure and Peasant Family Structure: A German Regional Comparison", p. 71–95 in *Family and Inheritance: Rural Society in Western Europe, 1200–1800*, ed. Jack Goody, Joan Thirsk, and Edward Thompson. New York: Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre (1958) *Sociologie d'Algerie*. Paris: PUF.

Braudel, Fernand (1977) *Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Breiger, Ronald (1990) "Introduction: On the Structural Analysis of Social Mobility", p. 1–23 in *Social Mobility and Social Structure*, ed. Ronald Breiger. Cambridge: Cambridge University Press.

Brenner, Robert (1976) "Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe", *Past & Present*, no. 70: 30–75.

Brenner, Robert (1982) "The Agrarian Roots of European Capitalism", *Past & Present*, no. 97: 16–113.

Breslin, Jimmy (1990) *Table Money*. New York: Random House.

Brinton, Crane ([1938] 1965) *The Anatomy of Revolution*. New York: Vintage.

Brynjolfsson, Erik, and Andrew McAfee (2012) *Race against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy*. Cambridge, MA: Digital Frontier Press.

Burke, Peter (2003) "The Annales, Braudel and Historical Sociology", p. 58–64 in *Handbook of Historical Sociology*, ed. Gerard Delanty and Engin F. Isin. London: Sage.

Calhoun, Craig (2003) "Afterword: Why Historical Sociology?", p. 383–93 in *Handbook of Historical Sociology*, ed. Gerard Delanty and Engin F. Isin. London: Sage.

Calhoun, Craig (2006) "Pierre Bourdieu and Social Transformation: Lessons from Algeria", *Development and Change*, 37(6), 1403–15.

Casanova, Pascale ([1999] 2004) *The World Republic of Letters*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Chakrabarty, Dipesh (2007) *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Charlesworth, Andrew, ed. (1983) *An Atlas of Rural Protest in Britain, 1548–1900*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Charrad, Mounira M. (2001) *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. Berkeley: University of California Press.

Colburn, Forrest (1994) *The Vogue of Revolution in Poor Countries*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Collins, Randall (1980) "Weber's Last Theory of Capitalism: A Systematization", *American Sociological Review*, 45: 925–42.

Collins, Randall (1998) *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Collins, Randall (2000) "The Sociology of Philosophies: A Précis", *Philosophy of the Social Sciences*, 30(2): 158–201.

Collins, Randall (2013) "The end of Middle-Class Work: No More Escapes", In *Does Capitalism Have a Future?*, ed. Craig Calhoun and Georgi Derluguian. New York: Oxford University Press.

Davies, James (1962) "Toward a Theory of Revolution", *American Sociological Review*, 27: 5–18.

Davis, Kingsley (1955) "Institutional Patterns Favoring High Fertility in Underdeveloped Areas", *Eugenics Quarterly*, 2: 33–9.

Delanty, Gerard, and Engin F. Isin (2003) "Introduction: Reorienting Historical Sociology", p. 1–10 in *Handbook of Historical Sociology*, ed. Gerard Delanty and Engin F. Isin. London: Sage.

Delumeau, Jean ([1971] 1977) *Catholicism between Luther and Voltaire*. London: Burns & Oates.

Dobb, Maurice (1947) *Studies in the Development of Capitalism*. New York: International Publishers.

Domhoff, G. William (1986) "Welfare Capitalism and the Social Security Act of 1935", *American Sociological Review*, 51: 445–6.

Dutton, Michael (2005) "The Trick of Words: Asian Studies, Translations, and the Problems of Knowledge", p. 89–125 in *The Politics of Method in the Human Sciences*, ed. George Steinmetz. Durham, NC: Duke University Press.

Eisenstadt, S. N. (1963) *The Political Systems of Empires*. New York: Free Press.

Eisenstadt, S. N. (1968) "The Protestant Ethic Thesis in an Analytical and Comparative Framework", p. 3–45 in *The Protestant Ethic and Modernization*, ed. S. N. Eisenstadt. New York: Basic Books.

Elias, Norbert ([1939] 1982) *The Civilizing Process*, 2 vols. New York: Pantheon.

Elias, Norbert ([1969] 1983) *The Court Society*. New York: Pantheon.

Emigh, Rebecca Jean (1997a) "The Power of Negative Thinking: The Use of Negative Case Methodology in the Development of Sociological Theory", *Theory and Society*, 26: 649–84.

Emigh, Rebecca Jean (1997b) "Land Tenure, Household Structure, and Age at Marriage in Fifteenth-Century Tuscany", *Journal of Interdisciplinary History*, 27(4): 613–36.

Emigh, Rebecca Jean (2009) *The Undevelopment of Capitalism: Sectors and Markets in Fifteenth-Century Tuscany*. Philadelphia: Temple University Press.

Epstein, S. R. (1991) "Cities, Regions and the Late Medieval Crisis: Sicily and Tuscany Compared", *Past & Present*, no. 130: 3–50.

Esping-Andersen, Gosta (1990) *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Esping-Andersen, Gosta (1999) *Social Foundations of Postindustrial Economies*. New York: Oxford University Press.

Eyal, Gil, Ivan Szelenyi, and Eleanor Townsley (1998) *Making Capitalism without Capitalists: Class Formation and Elite Struggles in Post-Communist Central Europe*. London: Verso.

Foran, John (2005) *Taking Power: On the Origins of Third World Revolutions*. Cambridge: Cambridge University Press.

Foran, John, ed. (1997) *Theorizing Revolutions*. London: Routledge.

Franzosi, Roberto (1995) *The Puzzle of Strikes: Class and State Strategies in Postwar Italy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fulbrook, Mary (1983) *Piety and Politics: Religion and the Rise of Absolutism in England, Württemberg and Prussia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Go, Julian (2011) *Patterns of Empire: The British and American Empires, 1688 to the Present*. New York: Cambridge University Press.

Goldstone, Jack (1991) *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. Berkeley: University of California Press.

Goldstone, Jack (2010) "The New Population Bomb: Five Population Megatrends that will Shape the coming Global Future", *Foreign Affairs*, 89(1): 31–43.

Goodwin, Jeff (2001) *No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945–1991*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gorski, Philip (2003) *The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe*. Chicago: University of Chicago Press.

Gould, Roger V. (1995) *Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune*. Chicago: University of Chicago Press.

Gurr, Ted Robert (1970) *Why Men Rebel*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Haggard, Stephan, and Robert R. Kaufman (2008) *Development, Democracy and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hajnal, John (1965) "European Marriage Patterns in Perspective", p. 101–43 in *Population in History: Essays in Historical Demography*, ed. David Glass and David Eversley. Chicago: Aldine.

Herlihy, David, and Christiane Klapisch-Zuber (1978) *Les Toscans et leurs familles*. Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.

Hill, Christopher (1972) *The World Turned Upside Down*. London: Penguin.

Hilton, Rodney, ed. (1976) *The Transition from Feudalism to Capitalism*. London: New Left Books.

Hobsbawm, Eric (1980) "The Revival of Narrative: Some Comments", *Past & Present*, no. 86: 3–8.

Hung, Ho-fung (2011) *Protest with Chinese Characteristics*. New York: Columbia University Press.

Ikegami, Eiko (1995) *The Taming of the Samurai: Honorific Individualism and the Making of Modern Japan*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Jacobs, Lawrence R., and Theda Skocpol (2010) *Health Care Reform and American Politics: What Everyone Needs to Know*. New York: Oxford University Press.



Jenkins, J. Craig, and Barbara Brents (1989) "Social Protest, Hegemonic Competition and Social Reform: The Political Origins of the American Welfare State", *American Sociological Review*, 54: 891–909.

Kantor, MacKinlay (1961) *If the South Had Won the Civil War*. New York: Bantam Books.

Keister, Lisa A. (2000) *Wealth in America: Trends in Wealth Inequality*. Cambridge: Cambridge University Press.

Keister, Lisa A. (2005) *Getting Rich: America's New Rich and How They Got That Way*. Cambridge: Cambridge University Press.

Keister, Lisa A., and Stephanie Moller (2000) "Wealth Inequality in the United States", *Annual Review of Sociology*, 26: 63–81.

King, Lawrence Peter, and Ivan Szelenyi (2004) *Theories of the New Class: Intellectuals and Power*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kranz, Linda (2004) *All About Me: A Keepsake Journal for Kids*. Flagstaff, AZ: Rising Moon.

Kumar, Krishan (2003) *The Making of English National Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kunz, Diane (1997) "Camelot Continued: What if John F. Kennedy Had Lived?", p. 368–91 in *Virtual History: Alternatives and Counterfactuals*, ed. Niall Ferguson. New York: Basic Books.

Kuznets, Simon (1955) "Economic Growth and Income Inequality", *American Economic Review*, 45(1): 1–28.

Lachmann, Richard (1987) *From Manor to Market: Structural Change in England, 1536–1640*. Madison: University of Wisconsin Press.

Lachmann, Richard (2000) *Capitalists in Spite of Themselves: Elite Conflict and Economic Transitions in Early Modern Europe*. New York: Oxford University Press.

Lachmann, Richard (2010) *States and Power*. Cambridge: Polity.

Lachmann, Richard, ed. (2006) "Symposium on Remaking Modernity: Politics, History, and Sociology", *International Journal of Comparative Sociology*, 47(6) [special issue].

Lefebvre, Georges ([1932] 1973) *The Great Fear of 1789: Rural Panic in Revolutionary France*. New York: Vintage.

Levine, David, and Keith Wrightson (1991) *The Making of an Industrial Society: Wickham, 1560–1765*. Oxford: Clarendon Press.

Levy, Marion J. (1966) *Modernization and the Structure of Societies: A Setting for International Affairs*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Levy, Marion J. (1972) *Modernization: Latecomers and Survivors*. New York: Basic Books.

Logevall, Fredrik (1999) *Choosing War: The Lost Chance for Peace and the Escalation of War in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.

Loveman, Mara (1999) "Making 'Race' and Nation in the United States, South Africa, and Brazil: Taking Making Seriously", *Theory and Society*, 28: 903–27.

Mahoney, James (2010) *Colonialism and Postcolonial Development: Spanish America in Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mann, Michael (1986, 1993, 2012) *The Sources of Social Power*, vols 1–3. Cambridge: Cambridge University Press.

Markoff, John (1996a) *Waves of Democracy*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Markoff, John (1996b) *The Abolition of Feudalism: Peasants, Lords, and Legislators in the French Revolution*. Pittsburgh: Pennsylvania State University Press.

Marx, Anthony W. (1998) *Making Race and Nation: A Comparison of the United States, South Africa, and Brazil*. Cambridge: Cambridge University Press.

Marx, Karl ([1852] 1963) *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*. New York: International Publishers.

Marx, Karl ([1867] 1967) *Capital*, vol. 1. New York: International Publishers.

Me Adam, Doug (1990) *Freedom Summer*. New York: Oxford University Press.

Meyer, John, John Boli, George M. Thomas, and Francisco O. Ramirez (1997) "World Society and the Nation-State", *American Journal of Sociology*, 103(1): 144–81.

Milanovic, Branko (2011) *The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality*. New York: Basic Books.

Miller, Nicola (2006) "The Historiography of Nationalism and National Identity in Latin America", *Nations and Nationalism*, 12: 201–21.

Moore, Barrington, Jr. (1978) *Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt*. White Plains, NY: Sharpe.

O'Connor, Julia S., Ann Shola Orloff, and Sheila Shaver (1999) *States, Markets, Families: Gender, Liberalism, and Social Policy in Australia, Canada, Great Britain, and the United States*. Cambridge: Cambridge University Press.

Orloff, Ann Shola (1993) "Gender and the Social Rights of Citizenship: The Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare States", *American Sociological Review*, 58: 303–28.

Orloff, Ann, and Theda Skocpol (1984) "Why Not Equal Protection: Explaining the Politics of Public Social Spending in Britain, 1900–1911, and the United States, 1880s–1920", *American Sociological Review*, 49: 726–50.

Paige, Jeffery (1975) *Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World*. New York: Free Press.

Paige, Jeffery (1997) *Coffee and Power: Revolution and the Rise of Democracy in Central America*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Piketty, Thomas, and Emmanuel Saez (2007–12) "Income Inequality in the United States, 1913–2002", p. 141–225 in *Top Incomes over the Twentieth Century: A Contrast between European and English Speaking Countries*, ed. A. B. Atkinson and T. Piketty. Oxford: Oxford University Press, 2007. Tables and Figures updated to 2010 at <http://elsa.berkeley.edu/~saez/>.

Piven, Frances Fox, and Richard Cloward (1971) *Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare*. New York: Vintage.

Prasad, Monica (2006) *The Politics of Free Markets: The Rise of Neoliberal Economic Policies in Britain, France, Germany, and the United States*. Chicago: University of Chicago Press.

Quadagno, Jill (1984) "Welfare Capitalism and the Social Security Act of 1935", *American Sociological Review*, 49: 632–47.

Quadagno, Jill (1985) "Two Models of Welfare State Development: Reply to Skocpol and Amenta", *American Sociological Review*, 50: 575–8.

Quadagno, Jill (1986) "Reply to Domhoff", *American Sociological Review*, 51: 446.

Quadagno, Jill (2004) "Why the United States Has No National Health Insurance: Stakeholder Mobilization against the Welfare State, 1945–1996", *Journal of Health and Social Behavior*, 45: 25–44.

Secombe, Wally (1992) *A Millennium of Family Change: Feudalism to Capitalism in Northwestern Europe*. London: Verso.

Secombe, Wally (1993) *Weathering the Storm: Working-Class Families from the Industrial Revolution to the Fertility Decline*. London: Verso.

Sen, Amartya (1992) *Inequality Reexamined*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sewell, William H., Jr. (1996) "Three Temporalities: Toward an Eventful Sociology", p. 245–80 in *The Historic Turn in the Human Sciences*, ed. Terrence J. McDonald. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Shanin, Teodor (1972) *The Awkward Class*. Oxford: Clarendon Press.

Shapiro, Gilbert, and John Markoff (1998) *Revolutionary Demands: A Content Analysis of the Cahiers de doléances of 1789*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Skocpol, Theda (1979) *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge: Cambridge University Press.

Skocpol, Theda (1982) "Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution", *Theory and Society*, 11(3): 265–83.

Skocpol, Theda (1994) *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge: Cambridge University Press.

Skocpol, Theda (1996) *Boomerang: Clinton's Health Security Effort and the Turn against Government in U.S. Politics*. New York: Norton.

Skocpol, Theda, and Edwin Amenta (1985) "Did Capitalists Shape Social Security?", *American Sociological Review*, 50: 572–5.

Skocpol, Theda, and Edwin Amenta (1986) "States and Social Policies", *Annual Review of Sociology*, 12: 131–57.

Skocpol, Theda, and Margaret Somers (1980) "The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry", *Comparative Studies in Society and History*, 22: 174–97.

Smith, Philip (2005) *Why War? The Cultural Logic of Iraq, the Gulf War, and Suez*. Chicago: University of Chicago Press.

Snow, David A., Sarah A. Soule, and Hanspeter Kriesi, eds (2004) *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell.

Somers, Margaret (1993) "Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community and Political Culture in the Transition to Democracy", *American Sociological Review*, 58: 587–620.

Somers, Margaret (2008) *Genealogies of Citizenship: Markets, Statelessness, and the Right to Have Rights*. Cambridge: Cambridge University Press.

Steinmetz, George (2007) *The Devil's Handwriting: Precoloniality and the German Colonial State in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa*. Chicago: University of Chicago Press.

Steinmetz, George (2008) "The Colonial State as a Social Field", *American Sociological Review*, 73: 589–612.

Steinmetz, George, ed. (2012) *Sociology and Empire: Colonial Studies and the Imperial Entanglements of a Discipline*. Durham, NC: Duke University Press.

Stone, Lawrence (1965) *The Crisis of the Aristocracy, 1558–1641*. Oxford: Clarendon Press.

Stone, Lawrence (1977) *The Family, Sex and Marriage in England, 1500–1800*. New York: Harper & Row.

Stone, Lawrence (1979) "The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History", *Past & Present*, no. 85: 3–24.

Stone, Lawrence, and Jeanne C. Fawtier Stone (1984) *An Open Elite? England 1540–1880*. Oxford: Clarendon Press.

Stryker, Robin (1996) "Beyond History vs. Theory: Strategic Narrative and Sociological Explanation", *Sociological Methods and Research*, 24: 304–52.

Sweezy, Paul ([1950] 1976) "A Critique", p. 33–56 in *The Transition from Feudalism to Capitalism*, ed. Rodney Hilton. London: New Left Books.

Tarrow, Sidney (2004) "From Comparative Historical Analysis to 'Local Theory': The Italian City-State Route to the Modern State", *Theory and Society*, 33: 443–71.

Therborn, Goran (2004) *Between Sex and Power: Family in the World, 1900–2000*. London: Routledge.

Therborn, Goran (2006) "Meaning, Mechanisms, Patterns, and Forces: An Introduction", p. 1–58 in *Inequalities of the World: New Theoretical Frameworks, Multiple Empirical Approaches*, ed. Goran Therborn. London: Verso.

Thernstrom, Stephen (1964) *Poverty and Progress: Social Mobility in a Nineteenth Century City*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Tilly, Charles (1986) *The Contentious French*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Tilly, Charles (1990) *Coercion, Capital, and European States*. Oxford: Blackwell.

Tilly, Charles (1991) "How and What Are Historians Doing", p. 86–117 in *Divided Knowledge across Disciplines, across Cultures*, ed. David Easton and Corinne S. Schelling. Newbury Park, CA: Sage.

Tilly, Charles (1993) *European Revolutions, 1492–1992*. Oxford: Blackwell.

Tilly, Charles (1995) *Popular Contention in Great Britain, 1758–1834*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Tilly, Charles (1998) *Durable Inequality*. Berkeley: University of California Press.

Tilly, Charles (2005) *Trust and Rule*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tocqueville, Alexis de ([1835] 2003) *Democracy in America*. New York: Penguin.

Toynbee, Arnold (1969) "If Alexander the Great Had Lived On", p. 441–86 in *Some Problems of Greek History*. London: Oxford University Press.

Wakin, Eric (1998) *Anthropology Goes to War: Professional Ethics and Counter insurgency in Thailand*. Madison: University of Wisconsin Press.

Wallerstein, Immanuel ([1986] 2000) "Does India Exist?", p. 310–14 in *The Essential Wallerstein*. New York: New Press.

Wallerstein, Immanuel (1974–2011) *The Modern World System*, vols 1–4. Berkeley: University of California Press.

Weber, Max ([1916–17] 1958) *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Scribner's.

Weber, Max ([1922] 1978) *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.

Wickham-Crowley, Timothy (1991) *Guerillas and Revolution in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Williamson, Jeffrey G., and Peter H. Lindert (1980) *American Inequality: A Macroeconomic History*. New York: Academic Press.

Wrightson, Keith, and David Levine (1979) *Poverty and Piety in an English Village: Terltnng, 1525–1700*. New York: Academic Press.

Zeitlin, Maurice (1984) *The Civil Wars in Chile, or, The Bourgeois Revolutions that Never Were*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Zhao, Dingxin (2001) *The Power of Tiananmen: State-Society Relations and the 1989 Beijing Student Movement*. Chicago: University of Chicago Press.

Научное издание

Ричард Лахман

## **Что такое историческая социология?**

Выпускающий редактор *Е. В. Попова*  
Заведующая редакцией *Ю. В. Бандурина*  
Редактор *В. Л. Ларина*  
Художник *В. П. Вертинский*  
Оригинал-макет *О. З. Элоева*  
Компьютерная верстка *Т. Г. Ситниковой*

Подписано в печать 22.10.2015. Формат 84×108<sup>1/32</sup>.  
Гарнитура PT Serif Pro. Усл. печ. л. 12,6.  
Тираж 1000 экз. Изд. № 332.  
Заказ № 6193.

Издательский дом «Дело» РАНХиГС  
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82  
Коммерческий центр  
тел. (495) 433-25-10, (495) 433-25-02  
[www.ranepa.ru](http://www.ranepa.ru)  
[delo@ranepa.ru](mailto:delo@ranepa.ru)

Отпечатано способом ролевой струйной печати  
в АО «Первая образцовая типография»,  
филиал «Чеховский Печатный Двор»,  
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1  
[www.chpd.ru](http://www.chpd.ru), тел.: 8 (499) 270-73-59



# ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДЕЛО» РАНХиГС

Москва, проспект Вернадского, д. 82

Тел.: (495) 433-25-02

delo@rane.ru

Спрашивайте в книжных магазинах

## МОСКВА

**Академия**, специализированные магазины деловой книги,  
в РАНХиГС, Москва, просп. Вернадского, д. 82, (499) 270-29-78

**Москва**, Тверская ул., д. 8, (495) 629-64-83

**Москва**, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, (495) 629-64-83

**Библио-глобус**, Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1, (495) 781-19-00

**Московский Дом книги**, ул. Новый Арбат, д. 8, (495) 789-35-91

**Молодая гвардия**, ул. Большая Полянка, д. 28, (495) 780-33-70

**Фаланстер**, Малый Гнезниковский пер., д. 12/27, стр. 3

(вход в арке), (495) 629-88-21, (495) 504-47-95, falanster@mail.ru

**Сеть Читай-город («Новый Книжный»)**, (495) 937-85-81,

(499) 177-22-11

**Циолковский**, Новая площадь, д. 3/4 (здание Политехнического  
музея), подъезд 7 Д, (495) 628-64-42

**У Кентавра**, книжная лавка в РГГУ, ул. Чаянова, 15, (499) 973-43-01

**Книги**, магазин в кафе «Bilingua», Кривоколенный пер., д. 10,  
стр. 5, (495) 628-29-60

**БукВышка**, университетский книжный магазин (НИУ ВШЭ),  
ул. Мясницкая, д. 20, (495) 628-29-60

**Dodo Magic Bookroom**, ул. Таганская, д. 31/22

**Jabberwocky Magic Bookroom**, ул. Покровка, д. 47/24,  
(495) 917-59-44

**Гнозис**, Турчинов пер., д. 4, (495) 255-77-57

**Фаланстер на Винзаводе**, 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 6,  
(495) 926-30-42

**Книжный клуб «36'6»**, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10,  
(495) 926-45-44

**Аргумент**, Ленинские горы, МГУ, д. 1, сектор «Б», (495) 939-42-95  
**Науку – всем**, выставочный зал, Нахимовский проспект, д. 56,  
(499) 724 25-45  
**Дом Педагогической книги**, (495) 629-54-35  
**Дом Книги «На Соколе»**, (499) 155-38-82  
**Сеть Академкнига**  
ул. Вавилова, д. 55/7, (499) 124-55-00  
Мичуринский проспект, д. 12, (499) 932-74-79  
Цветной бульвар, д. 21, стр. 2, (499) 921-55-96  
**Гоголь books**, в «Гоголь-центре», ул. Казакова, д. 8, (925) 468-02-30  
**KasPar Hauser**, в галерее «Артплеи», Нижняя Сыромятническая ул.,  
д. 10/11, (499) 678-02-26  
**Книжная экспедиция Управления делами Президента  
Российской Федерации**: центральный салон и 22 торговых  
секции, ул. Варварка, д. 9, (495) 606-52-94  
**Ходасевич**, ул. Покровка, д. 6, (965) 179-34-98  
**Гараж**, Павильон Центра «Гараж», Пионерский пруд,  
Парк Горького, (495) 645-05-21

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

**Санкт-Петербургский Дом книги**, Невский проспект, д. 28  
(«Дом Зингера»), (812) 448-23-55  
**Подписные издания**, Литейный проспект, д. 57, (812) 273-50-53  
**Порядок слов**, наб. реки Фонтанки, д. 15, (812) 310-50-36  
**Все свободны**, ул. Мойка, д. 28, (911) 977-40-47  
**МЫ**, Невский проспект, д. 20 (проект BIBLIOTEKA), (981) 168-68-85  
**Магазин издательства СПбГУ**, Менделеевская линия, д. 5,  
(812) 328-96-91, (812) 329-24-70

## ВОРОНЕЖ

**Петровский**, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 54-а, ТЦ «Петровский  
пассаж», (473) 233-19-28

## ЕКАТЕРИНБУРГ

**Йозеф Кнехт**, ул. 8 Марта, д. 7 (вход с набережной), (909) 015-79-68  
**Екатеринбургский Дом книги**, ул. Антона Валека, д. 12,  
(343) 253-50-10

## НОВОСИБИРСК

**Капиталь**, Литературный магазин, ул. Максима Горького, д. 78,  
(383) 223-69-73

## **ПЕРМЬ**

**Пиотровский**, книжный магазин и клуб, ул. Луначарского, 51-а,  
(342) 243-03-51

## **РОСТОВ-НА-ДОНУ**

**Интеллектуал**, книжный салон, ул. Садовая, д. 55 (Дворец  
творчества детей и молодежи, фойе главного здания),  
(988) 565-14-35

**Сорок два**, пр. Соколова, д. 46, Циферблат, 3-й этаж,  
(906) 180-35-14

## **КИЕВ**

**Архе**, ул. Оранжерейная, д. 3, (380) 63 134-18-93

**Книжный бум**, книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8  
(павильон «Академкнига»), (380) 67 273-50-10

## **КРАСНОЯРСК**

**Бакен**, ул. Карла Маркса, д. 34А, (3912) 88-20-82

**СФУ-Механика роста**, книжная лавка при Северном федеральном  
университете. Свободный пр., д. 82, стр. 1, (391) 206-26-96,  
(391) 206-39-28

Приобрести в сетевых книжных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге  
и других городах (о наличии книг в вашем городе можно узнать  
на сайте магазина):

«Буквоед», <http://bookvoecl.ru/>

«Книжный Лабиринт», <http://vwmlabirint-bookstore.ru/>

«Новый книжный», <http://www.nkl.ru/>

«Читай-город», <http://www.chitai-gorod.ru/>

## **ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ**

Доставку по всему миру осуществляет интернет-магазин • [Ozon.ru](http://Ozon.ru)

## **ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ**

**OZON.ru** <http://www.ozon.ru>

**Лабиринт** <http://www.labyrinth.ru/>

**Бэффо!** <http://www.boffobooks.ru/>

**BOOKS.ru** <http://www.books.ru/>

**Бизнес-книга** <http://bizbook.ru/>

**Книга.ги** <http://www.kniaa.ru/>

**Read.ru** <http://read.ru/>

**LibroRoom** <http://libroroom.ru/>

**Спринтер** <http://wvm.sprinter.ru/>

# ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДЕЛО» РАНХиГС

Москва, проспект Вернадского, д. 82  
Тел.: (495) 433-25-02  
delo@rane.ru

## Вышли в свет книги:

- Е.Т. ГАЙДАР. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 11, 12, 13.
- В.А. МАУ. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 5.
- М.А. КРОНГАУЗ. Слово за слово: о русском языке и не только.
- А.А. ФУРСЕНКО. Династия Рокфеллеров. Нефтяные войны  
(конец XIX – начало XX века).
- С. Сумлённый. Немецкий формат Как журналисты создали ФРГ.
- С. Сумлённый. Немецкая система. Как устроена Германия. 3-е изд.
- С.Н. ИВАШКОВСКИЙ. Экономика для менеджеров. Микро-  
и макроуровень.
- И.Г. АЛЬШУЛЕР. О стратегии, маркетинге и консалтинге.  
Занимательно – для внимательных.
- А.Н. МЕЩЕРЯКОВ. Terra Nipponica: среда обитания и среда  
воображения.
- Н.И. МАТУЗОВ, А.В. МАЛЬКО. Теория государства и права. 4-е изд.,  
испр. и доп.
- Экономика инвестиционных фондов / под общей редакцией А. Радыгина.
- Г.С. СТАРОСТИН. К истокам языкового разнообразия. Десять бесед  
о сравнительно-историческом языкознании с Е.Я. Сатановским.
- А.В. МАЛЬКО. Теория государства и права в вопросах и ответах.
- Д.Ю. КАТАЛЕВСКИЙ. Основы имитационного моделирования  
и системного анализа в управлении.
- В.Я. УЗУН, Н.И. ШАГАЙДА. Аграрная реформа в постсоветской России:  
механизмы и результаты.

- Филипп Агийон. Экономический рост, неравенство и глобализация: теория, история / перевод с французского Ю. Набатовой.
- Оливье Бланшар, Стэнли Фишер. Лекции по макроэкономике (серия «Академический учебник») / перевод с английского под научной редакцией Е. Андреевой, Н. Ранневой.
- Г.В. Фридрих Гегель. Лекции по философии духа / перевод с немецкого К. Александрова.
- Александр Гершенкрон. Экономическая отсталость в исторической перспективе (серия «Экономическая история в прошлом и настоящем») / перевод с английского А.В. Белых.
- Энтони Гидденс. Неспokoйный и могущественный континент: что ждет Европу в будущем? / перевод с английского А. Матвеевко при участии М. Бендет.
- Парта Дасгупта. Экономика: очень краткое введение / перевод с английского В. Шейнкера; под научной редакцией М. Левина.
- Э. Колин Кэмерон, Правин К. Триведи. Микроэконометрика: методы и их применения. В 2 кн. / перевод с английского под научной редакцией Б. Демешева (серия «Академический учебник»).
- Ричард Лахман. Что такое историческая социология? / перевод с английского М. Дондуковского; под научной редакцией А.А. Смирнова.
- Тимоти Митчелл. Углеродная демократия: политическая власть в эпоху нефти / перевод с английского Д. Кралечкина.
- Морис Обсфельд, Кеннет Рогофф. Основы международной макроэкономики / перевод английского под научной редакцией С. Дробышевского, П. Трунина (серия «Академический учебник»).
- Рената Салецл. Тирания выбора / перевод с английского В. Мазина.
- Рената Салецл. О страхе / перевод с английского В. Мазина.
- Джеймс Сток, Марк Уотсон. Введение в эконометрику / перевод с английского под научной редакцией М. Турунцевой (серия «Академический учебник»).
- Майкл Уикенс. Макроэкономическая теория: подход динамического общего равновесия / перевод с английского под научной редакцией Е. Синельниковой (серия «Академический учебник»).
- Карл Уолш. Монетарная теория и монетарная политика (серия «Академический учебник») / перевод с английского К. Ивановой, М. Карева, Ю. Набатовой.

Дэвид Уэст. Континентальная философия. Введение / перевод  
с английского Д. Кралечкина.

МАРИЭТТА ХАФНЕР, ДЖОРИС ХОЕКСТРА, МАЙКЛ ОКСЛИ,  
ГАРРИ ВАН ДЕР ХЕЙДЕН. Возможно ли преодолеть разрыв между  
социальным и рыночным секторами арендного жилья в шести  
европейских странах? / перевод с английского М. Ивановой;  
под общей редакцией В. Догадайло.

Отфрид Хёффе. Есть ли будущее у демократии? О современной  
политике / перевод с немецкого под редакцией В. Малахова.



Ричард Лахман — профессор социологии культуры и сравнительной/исторической социологии в Университете штата Нью-Йорк в Олбани, автор книг «Государства и власть» и «Капиталисты поневоле» (М.: Территория будущего, 2010), получившей в 2003 г. премию Американской социологической ассоциации в номинации «Выдающаяся научная публикация».

В своем превосходном и кратком обзоре исторической социологии Лахман блестяще показывает, чем же именно она занимается: трансформациями, создавшими мир, в котором мы живем. Лахман предлагает пронизательное описание основных областей исследований, в которые исторические социологи внесли наибольший вклад.

Эта книга будет полезна тем, кто пытается распространить подходы и вопросы, волнующие историческую социологию, на дисциплину в целом, кто хочет историзировать социологию, чтобы сделать ее более жизненной и обоснованной.

— Энн Шола Орлофф,  
*Северо-Западный университет*

Один из важнейших участников «исторического поворота» в социальных науках конца XX века предлагает увлекательное погружение в дисциплину. Рассматривая образцовые работы в различных областях социологии, Лахман умело освещает различные вопросы, поиском ответов на которые занимается историческая социология. Написанная в яркой и увлекательной манере, книга «Что такое историческая социология?» необходима к прочтению не только для тех, кто интересуется <исторической> социологией.

— Роберто Францози,  
*Университет Эмори*

ISBN: 978-5-7749-0978-0



9 785774 909780